

Георг Эберс

Слово



Георг Мориц Эберс

Слово

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153249

Аннотация

«— Слово, единственное слово! – прозвучал свежий отроческий голос, и затем раздалось гулкое хлопанье в ладоши и по лесу пронесся веселый смех. До сих пор в ветвях сосен и в мохнатых шапках буков царило глубокое молчание. Теперь же горлица вторила смеху мальчика, а ворон, испуганный хлопаньем, распустил свои черно-сизые крылья и перелетел с одной сосны на другую.

В Шварцвальде лишь недавно установилась весна. Шел только конец мая, однако в воздухе было душно, как в июне, и тучи все более сгущались. Солнце стояло уже довольно низко, и вследствие узости долины оно казалось уже совершенно скрывшимся. Обычно в ясную погоду оно в это время дня золотило еще верхушки сосен на высоком гребне гор. Но щебетание птиц более подходило к удушливому воздуху и к надвигавшейся грозе, чем звонкий смех мальчика. Все твари в лесу ощущали, казалось, какую-то тревогу. Но Ульрих еще раз громко рассмеялся и воскликнул, придавив голым коленом пучок сухого хвороста...»

Содержание

I	5
II	11
III	23
IV	35
V	47
VI	56
VII	65
VIII	74
IX	93
X	106
XI	118
XII	137
XIII	153
XIV	162
XV	173
XVI	188
XVII	197
XVIII	211
XIX	220
XX	232
XXI	251
XXII	262
XXIII	275

XXIV	286
XXV	296
XXVI	307
XXVII	318
XXVIII	325
XXIX	337
XXX	349
XXXI	359

Георг Эберс

Слово

I

– Слово, единственное слово! – прозвучал свежий отроческий голос, и затем раздалось гулкое хлопанье в ладоши и по лесу пронесся веселый смех. До сих пор в ветвях сосен и в мохнатых шапках буков царило глубокое молчание. Теперь же горлица вторила смеху мальчика, а ворон, испуганный хлопаньем, распустил свои черно-сизые крылья и перелетел с одной сосны на другую.

В Шварцвальде лишь недавно установилась весна. Шел только конец мая, однако в воздухе было душно, как в июне, и тучи все более сгущались. Солнце стояло уже довольно низко, и вследствие узости долины оно казалось уже совершенно скрывшимся. Обычно в ясную погоду оно в это время дня золотило еще верхушки сосен на высоком гребне гор. Но щебетание птиц более подходило к удушливо-му воздуху и к надвигавшейся грозе, чем звонкий смех мальчика. Все твари в лесу ощущали, казалось, какую-то тревогу. Но Ульрих еще раз громко рассмеялся и воскликнул, придавив голым коленом пучок сухого хвороста:

– Подай-ка мне, Руфь, вот тот прут, чтобы связать его.

Как они высохли и как трещат, только прикоснешься к ним! Из-за одного глупого слова сидеть по целым дням за книгами! Какой вздор!

– Но ведь слово на слово и не приходится, – возразила девочка.

– Слово, слово! И пиф, и паф, и пуф – все это слова! – смеялся Ульрих. – Вот и хворост, когда я его ломаю, все твердит: «кнак» да «кнак», – тоже ведь слово! А Каспарова сорока знает целых двадцать слов.

– Но ведь так сказал отец, – возразила Руфь, складывая сухие сучья. – Он озабочен более подбором подходящих слов, а не зарабатыванием денег. Ты ведь все желал знать, чего он ищет в толстых книгах. Вот я собралась с духом и спросила его, и теперь знаю. Отец заметил, что я удивилась, и улыбнулся в книгу, как во время урока, когда ты, бывало, задашь глупый вопрос, и сказал, что к слову нельзя относиться с пренебрежением и что сам Господь Бог сотворил мир из единого слова. Ульрих покачал головой и спросил, немного подумав:

– И ты этому веришь?

Девочка серьезно ответила:

– Да, ведь это же отец сказал.

В ее ответе звучала твердая, непоколебимая детская вера, и то же чувство отражалось и в ее глазах.

Руфи было лет десять, и она во всех отношениях составляла резкий контраст со своим товарищем, который был го-

да на два, на три старше ее. Он был крепко сложен, и пара больших голубых глаз его смело смотрели из-под белокурых кудрей в мир Божий. Она же была худощава, субтильна, черноволоса и бледнолица. Она была одета в скромное, но выкроенное по-городскому платьице; ноги ее были обуты в чулки и башмаки. Он же бегал босиком, и его серая куртка была не менее поношена, чем короткие кожаные панталонны, едва доходившие до колен; но тем не менее он, должно быть, любил франтить, потому что на его плече был приколот бант из алой шелковой ленты. Он не походил на сына крестьянина или лесника: черты его лица казались слишком уж утонченными, а манера держаться – слишком непринужденна и горда.

Последние слова Руфи заставили Ульриха задуматься, но он не отвечал до тех пор, пока не увязал последнюю вязанку хвороста. Тогда он сказал:

– Моя матушка – ты знаешь... В присутствии отца я не смею говорить о ней, иначе он ужасно рассердится. Говорят, что она дурная женщина; но ко мне она всегда была добра, и я очень, очень скучаю по ней каждый день, как ни по ком другом. Когда я был вот такой маленький, матушка много рассказывала мне про одного человека, который искал клады и перед которым разверзались горы, потому что он знал такое словечко. Правда! Вот такое-то словечко и ищет твой отец.

– Не знаю, – вздохнула девочка. – Но, верно, то слово,

из которого Бог создал и Землю, и небо, и звезды на небе, было очень большое слово.

Ульрих кивнул, затем бойко вскинул глаза и воскликнул:

– Вот было бы хорошо, если бы он нашел его и сообщил его тебе, а ты бы передала его мне! Я уже знаю, чего я пожелал бы тогда!

Руфь вопросительно взглянула на мальчика, но он, смеясь, воскликнул:

– Нет, этого я тебе не скажу! А чего бы ты пожелала?

– Я? Я пожелала бы, чтобы моя мать снова могла говорить, как другие люди. А ты, ты желаешь себе...

– Ты не можешь знать, что я желаю.

– Нет, знаю. Ты пожелала бы, чтобы твоя матушка снова оказалась в вашем доме...

– Неправда, я об этом и не думал, – возразил Ульрих и, покраснев, уставился в землю.

– Ну так чего же? Скажи. Я не разболтаю!

– Я желал бы быть охотником у графа и выезжать с ним верхом каждый раз, когда он отправляется на охоту.

– Вот тебе раз! Да если бы я была мальчиком, как ты, это и в голову бы мне не пришло. Охотником! Да если найти такое словечко, то ты можешь сделаться всем, чем пожелаешь, – и господином, и знатным графом, и у тебя будут камзолы из разноцветного бархата, и шелковая постель, и...

– И стал бы я тогда ездить верхом на вороном жеребце, и мне принадлежал бы весь этот лес, с оленями и ланями,

и показал бы тогда вон тем мещанишкам...

При этих словах мальчик с угрожающим видом вскинул глаза и поднял руку, и только тут заметил, что пошел крупный дождь и гроза разразилась над их головами. Он живо взвалил себе на плечи несколько вязанок хвороста, один из них положил на плечи девочке и быстро стал спускаться с ней в долину. Он не обращал ни малейшего внимания на проливной дождь, на молнию и гром; но она дрожала всем телом. Когда они наконец вошли на ведущую дорогу, она остановилась.

– Да иди же! – крикнул Ульрих и стал взбираться вверх по узкой размытой дорожке, причем из-под ног его посыпались мелкие камни и песок.

– Я боюсь! – испуганно воскликнула Руфь. – Вот опять молния! Боже! Боже! Ай, какой удар!

И она согнулась, как бы пораженная молнией, закрыла лицо руками и опустилась на колени; при этом вязанка хвороста соскользнула с ее плеч на землю. В испуге она прошептала, как будто в состоянии была располагать могучим словом: «Ах слово, слово, доставь меня домой!»

Мальчик нетерпеливо топнул ногой, кинул на девочку взгляд, полный досады и презрения, и вполголоса стал бранить ее. Затем он бросил вниз сначала ее связку, а потом и свои, схватил Руфь за руку и потащил за собой. С великим трудом, не забывая поддерживать свою спутницу, он спустился с крутизны, поднял брошенные вперед связки хво-

роста, свои и ее, и молча пошел дальше. Наконец, он увидел сквозь дождевую пелену первые городские дома. Девочка вздохнула свободнее, потому что в числе ближайших домов были и дом ее отца, и кузница, принадлежавшая отцу ее спутника.

Дождь еще не переставал лить, но гроза уже миновала. До них явственно доносились звуки колокола, которыми церковный сторож тщился разогнать грозу. Вокруг городка тянулись стена и ров, и только несколько отдельных домов стояли вне черты укреплений. Этот пригород назывался «лобным местом». В нем жили самые бедные люди, палач и всякая голытьба, которые не пользовались правами гражданства. Кузнец Адам тоже принадлежал к числу последних, а отец Руфи, доктор Коста, еврей, должен был довольствоваться и тем, что ему позволяли жить вне городской черты.

На улицах царила тишина. Только дети прыгали по лужам, да старая прачка ставила кадку под водосточную трубу, чтобы собрать водицы. Среди жилья и людей Руфь вздохнула свободнее. Отец ее вскоре вышел к ней навстречу, взял ее за руку, и они вместе с Ульрихом вошли в дом доктора Косты.

II

В то время как мальчик расставлял мокрые вязанки хвоста возле печки в кухне доктора, монастырский рабочий вводил трех коней под навес, сколоченный близ кузницы Адама. Статный седой монах, приехавший верхом на одной из этих лошадей, грел руки около кузнечного горна. Кузница не была заперта, но несмотря на усиленный стук и зов монаха не появлялся ни кузнец, ни кто либо из его домашних. Адама, очевидно, не было дома, но он не мог уйти куда-нибудь далеко, потому что не только кузница, но и находившаяся при ней жилая комната были открыты.

Отец Бенедикт соскучился и ради развлечения попытался поднять тяжелый кузнечный молот. Хотя он был не из слабых, это ему, однако, едва удалось; а между тем Адам свободно размахивал этим молотом. Да, если бы он сумел так же хорошо управлять своей жизнью, как кузнечным молотом!

Собственно, жить кузнецу пристало вовсе не на «лобном месте». Что бы сказал его отец, если бы дожил до того, чтобы увидеть своего сына поселившимся в этом квартале отверженных!

Монах хорошо знал старого кузнеца, и ему также известно было кое-что и о сыне, хотя, правда, только понаслышке. Но и того, что он знал, было достаточно, чтобы объяснить себе, почему Адам сделался таким нелюдимым,

неразговорчивым и мрачным человеком, хотя он, собственно, и в молодости никогда не был, что называется, веселым малым.

Кузница, в которой он вырос, все еще стояла в городской черте, на рынке; она когда-то принадлежала отцу, деду и прадеду Адама. Работала она недурно, к великой досаде многоумных городских старейшин, болтовне которых мешали стуки молота, доносившиеся через плохо вымощенную площадь в зал их заседаний; но зато караулу, помещавшемуся в подвальном этаже ратуши, эта кузница доставляла приятное развлечение.

О том, как Адам попал с рынка на «лобное место», можно рассказать в немногих словах.

Он был единственным ребенком у своих родителей и смолodu стал учиться у отца его ремеслу. Когда умерла мать Адама, старик дал сыну и помощнику родительское благословение и несколько гульденов¹ и отправил его для совершенствования в своем ремесле в чужие края. Адам поехал прямо в Нюрнберг, который старик считал как бы академией кузнечного дела. Там Адам прожил двенадцать лет. Когда, наконец, до него дошло известие, что отец умер и что он стал единственным наследником кузницы, молодой мастер очень удивился тому, что, имея уже тридцать лет от ро-

¹ Гульден (от нем. Gold – золото) – денежная единица, называемая также флорином; в XIV–XVI веках золотая, в XVII–XIX веках серебряная монета Германии, Нидерландов и других соседних с ними стран. Находилась в обращении до 1892 года.

ду, ничего не видел, кроме своего родного городка да Нюрнберга. Правда, в последнем можно было кое-чему научиться. Далее, чем в Нюрнберге, кузнечное искусство нигде не продвинулось.

Адам вообще был тяжел на подъем и, еще будучи ребенком, отличался неподвижностью. Когда работа спорилась, его нелегко было оторвать от, нее, как бы ни было поздно; зато если уж засидится он, бывало, за кружкой пива, то непременно пересидит всех. За работой он был молчалив и совершенно равнодушен ко всему, что вокруг него происходило; в пивной он почти никогда не разговаривал; но тем не менее молодые художники, студенты и резчики охотно принимали в свою компанию внимательного и молчаливого слушателя; его же товарищи по ремеслу только удивлялись, почему разумный, солидный и трудолюбивый шваб чуждался их и почему его больше тянет к молодежи.

После смерти отца Адаму следовало бы тотчас же вступить во владение наследственной кузницей на рынке, но ему никак не удавалось скоро собраться, и прошло целых восемь месяцев, прежде чем он выбрался из Нюрнберга.

На большой дороге, около Швабаха, Адама, путешествовавшего, разумеется, пешком, нагнал фургон, в котором ехали странствующие артисты, да не простые, а такие, что их могли послушать графы и князья. Их было семеро: отец и четверо сыновей играли на скрипке и на бубне, а обе дочери пели и играли на арфе и на лютне. Старик пригласил Ада-

ма занять восьмое, свободное место в повозке. Кузнец выложил несколько пфеннигов и уселся напротив одной из девушек, которую спутники называли Флореттой. Музыканты направлялись в Нердлинген на ярмарку. Кузнецу так понравилось их общество, что он пробыл с ними несколько лишних дней. Когда он наконец расстался с ними, Флоретта заплакала, а он пошел себе своей дорогой, не оглядываясь. Затем он расположился под цветущей яблоней, чтобы отдохнуть и поесть, но завтрак показался ему невкусным, а когда он закрыл глаза, то не мог заснуть и ему представлялась Флоретта. Он стал жалеть о том, что расстался с ней слишком рано, и его одолевало страстное желание увидеть молодую девушку, ее алые губки и роскошные золотистые волосы, которые она не раз расчесывала в его присутствии. Ему хотелось опять услышать ее звонкий смех.

Затем Адам стал раздумывать об одинокой кузнице на тесной рыночной площади, о не менее одинокой квартире при ней и о том, что ему уже тридцать лет и что не мешало бы обзавестись хозяйкой. Да, вот бы такую женушку, как Флоретта! Семнадцать лет, кровь с молоком, веселая и живая! И он уже мысленно видел возле себя в кузнице белокурую головку, которая проливали слезы при расставании с ним. Наконец он вскочил и пошел дальше, но не по направлению, к своему родному городу, а по дороге в Нердлинген.

Уже в тот же вечер Флоретта стала его невестой, а через несколько дней – законной женой. Свадьбу свою они от-

праздновали среди ярмарочного шума и суеты. Странствующие музыканты, фокусники и комедианты были их свидетелями; в музыке и пестрых нарядах не было недостатка. Простой и рассудительный ремесленник предпочел бы более скромную свадьбу, но Адаму пришлось пройти через это чистилище, чтобы достичь рая.

На следующий день кузнец уехал с молодой женой из Нердлингена. В Штутгарте он потратил часть своих сбережений на покупку разных хозяйственных принадлежностей, не столько для того, чтобы зажать рот разным кумушкам, сплетни которых его мало заботили, сколько для того, чтобы доставить удовольствие своей жене. И все это он повез в свой родной город в виде приданого Флоретты, хотя, в сущности, все ее приданое заключалось в красном с зеленым платье, в лютне и в белой собачке.

И вот Адам зажил в своей кузнице припеваючи. Городские кумушки сторонились его жены, но в церкви они все же посматривали на нее, и она совершенно основательно казалась ему розой среди овощей. Почтенным городским жителям брак молодого кузнеца представлялся чем-то крайне неприличным, но Флоретта, по-видимому, была довольна, а этого было достаточно для него. Когда до истечения года у него родился сын Ульрих, счастье его не знало пределов.

Оно ничем не омрачалось и в течение следующего года. Часто, держа на руке мальчика, а другой обняв жену, он стоял у окна, уставленного цветами, смотрел, как его подручные

подковывают лошадь, и думал: «В Нюрнберге мне жилось не дурно, но здесь, с женой и ребенком, живется куда лучше». Когда он однажды вечером сидел в гостинице за кружкой пива и фельдшер назвал жизнь «юдолью плача», он засмеялся ему в лицо и сказал: «Как для кого: для иного она – прелестный сад».

Флоретта, по-видимому, любила своего мужа и с величайшей заботливостью относилась к ребенку. Адам не раз заговаривал о дочке, которая должна походить, как две капли воды, на мать, но дочка не рождалась. Когда маленький Ульрих стал уже бегать и часто отлучаться из кузницы на улицу, во Флоретте проснулись прежние скитальческие инстинкты и она начала подговаривать мужа, что неплохо было бы бросить их маленький городок и переехать в Аугсбург или Кёльн, где живется гораздо лучше. Но его было трудно сдвинуть с места, и в этом отношении оказалась бессильной даже его любовь к ней. Просьбы и приставания ее становились все более частыми; иногда она до того надоедала ему своими жалобами на скуку и одиночество, что он выходил из себя. Тогда она в испуге убегала в свою комнату и горько плакала. Случалось, однако, и так, что она угрожала ему уйти от него и отыскать своих. Это еще более его раздражало, и он давал ей почувствовать это раздражение. Он был упорен во всем, следовательно, и в гневе своем. Когда он сердился, то сердился не часами, а месяцами, и тут не могли его смягчить ни ласки, ни слезы.

Понемногу Флоретта привыкла сносить без слез недовольство мужа и устроила жизнь по-своему. Ульрих был ее утешением, ее гордостью, ее игрушкой, но все же он не мог наполнить все ее существование. Пока Адам работал за наковальней, она сидела у окошка позади выставленных на подоконник цветов. Стоявшие в карауле солдаты стали смотреть уже не на кузницу, как прежде, а повыше, да и сами господа гласные² начали относиться и к кузнице, и к стучу ее молота менее враждебно, чем прежде, так как Флоретта все более и более расцветала благодаря спокойной жизни. Из окрестных помещиков многие стали ковать своих лошадей гораздо чаще, чем было нужно, чтобы только иметь случай лишний раз увидеть красивую женщину.

Чаще всех приезжал граф Фролинген, и Флоретта вскоре научилась отличать топот его жеребца от топота других лошадей и всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы спуститься в кузницу, когда он находился там. После обеда она часто ходила гулять со своим ребенком за город и при этом постоянно выбирала дорогу, которая вела к замку графа. Нашлись добрые приятели, которые сочли нужным предостеречь Адама, но тот так на них прикрикнул, что они замолчали. Примерно в это время Флоретта заметно повеселела и часто распевала, как птичка.

Так прошли семь лет. Однажды летом в город прибыл взвод всадников, которые разместились в здании ратуши.

² Гласные – представители самоуправления города.

Они стали часто бывать в кузнице, так как приходилось чинить то то, то другое из их вооружения. Начальник их, видный, статный мужчина с красивыми усами, стал завсегда-тем в кузнице и очень мило играл с Ульрихом, когда Флоретта приводила туда сына. Наконец взвод ушел, и в тот же день кузнеца позвали в монастырь, чтобы поправить решетку кладовой. Когда он вернулся домой, Флоретта исчезла. «Она убежала с офицером», – говорили соседи, и были правы.

Адам не сделал ни малейшей попытки догнать ее. Но сильную любовь невозможно вырвать из сердца, как воткнутый в землю прут. Она слишком срослась с его сердцем, и искоренить ее совершенно – значило бы разорвать его на части. Хотя он втайне и проклинал ее и называл подлой змеей, но, с другой стороны, он невольно вспоминал, как она была мила, весела и очаровательна, и тогда корни разбитой любви пускали новые ростки, и его взорам представлялись такие чарующие картины, которых он стыдился, как только они исчезали. Над его головой разразилась гроза, и он сразу был перенесен из небольшого кружка счастливых в громадную толпу несчастных.

Говорят, что незаслуженные страдания делают человека лучшим. Может быть, но верно и то, что незаслуженный позор никого не делает лучшим, а в особенности такого человека, как Адам. Он до сих пор, не озираясь ни направо, ни налево, делал то, что считал достойным. Но теперь этот

безупречный человек чувствовал себя опозоренным и с болезненной подозрительностью усматривал во всем, что слышал и видел, желание оскорбить его. Следует, впрочем, сказать и то, что почтенные сограждане не упускали случая дать ему понять, какой громадный промах он сделал, введя дочь странствующего музыканта в их достойную среду.

Каждый раз, когда Адам выходил из дома, ему казалось – и большей частью безосновательно, – что все встречные подталкивают друг друга и указывают на него пальцами. Дома же он находил только пустоту, печальные воспоминания и ребенка, один вид которого еще более растревлял раны его сердца. Он желал, чтобы Ульрих совершенно забыл «змею подколодную», и строго-настрого запретил ему говорить о «мамаше». Но не приходило и дня, чтобы он сам не говорил о ней.

Наконец Адаму стала невыносима жизнь в его старом доме на рынке. Он подумывал о том, чтобы переселиться в Фрейбург или в Ульм, словом, куда бы ни было, лишь бы не в такое место, где бы он мог встретиться с нею. Он скоро нашел покупателя на свой дом, расположенный на таком хорошем месте, уложил вещи, и через два дня должен был уже явиться новый владелец. В это время в его кузницу зашел конский барышник Больц, живший на «лобном месте». Это был старый знакомый Адама, для которого он в течение многих лет подковывал лошадей на несколько сот гульденов. Он пришел проститься с кузнецом, потому что, ско-

лотив порядочное состояние, намеревался перенести свою торговлю в более выгодное место. Узнав о намерении Адама покинуть свой старый дом и кузницу, он предложил ему за бесценок свой дом за городской чертой. Тот сначала улыбнулся, но на другой день все же отправился на «лобное место», чтобы осмотреть дом барышника. Здесь ютился в своих лачугах самый бедный народ. Там стоял у дверей и глупо ухмылялся тряпичник Вильгельм, добродушно относясь к насмешкам и поддразниванию уличных мальчишек; тут жила в жалкой избушке старая метельщица Катерина с большим зобом; в следующих трех старых домишках, обвешанных рваным бельем, жили две семьи угольщиков и фокусник Каспар со своими уродливыми дочерьми, которые занимались зимой стиркой кружев, а летом разъезжали по ярмаркам с отцом, человеком весьма сомнительной репутации, которого Адам в детстве видел выставленным у позорного столба.

В других лачугах жили честные, но крайне бедные лесные рабочие, обремененные многочисленными семьями. Здесь царила нужда и нищета. На всей улице были только два более представительных дома: барышника и еще один, которому место могло быть даже и на городской площади. В этом доме жил еврей Коста, который прибыл лет десять тому назад со стариком отцом и с немой женой из дальней местности в наш городок, да так и остался здесь, потому что его отец опасно заболел, а жена родила девочку. Но граждане

не желали иметь еврея в своей среде, и потому ему пришлось поселиться за городом, на «лобном месте». Он купил дом лесника, выстроившего себе новый дом в лесу. Граждане же нашли, что для городской казны может пригодиться взимаемая в то время в довольно значительных размерах специальная еврейская подать. Еврей согласился на условия городского совета. Когда вскоре узнали, что он не ведет никакой торговли, а по целым дням сидит за большими книгами и в то же время платит за все чистыми деньгами, то его стали считать алхимиком и чародеем.

Вообще все, что здесь существовало, было жалко и презренно, и когда Адам очутился на «лобном месте», он сказал сам себе, что отныне ему место уже не среди гордых и безупречных. Он сам считал себя опозоренным, а так как ко всему, в том числе и к позору, он относился чрезвычайно серьезно, то находил, что этот жалкий сброд вполне подходящая для него компания. Всякий из них знал, что такое несчастье, а иному приходилось вынести к тому же еще более тяжелый позор, чем выпавший на долю Адама. И, наконец, если бы жизненные невзгоды заставили возвратиться к нему его злополучную жену – тут было для нее как раз подходящее место.

Поэтому кузнец купил дом барышника, при котором имелась и кузница. Потребители его произведений найдутся и за городом. И, действительно, ему не приходилось раскаиваться в своей покупке. Старая служанка осталась при нем

и хорошо ухаживала за ребенком, который процветал. У него самого работа как-то спорилась на новом месте. Он изредка отправлялся в город для закупки железа или угля, но вообще избегал сношений с гражданами, которые при встрече с ним пожимали плечами и, говоря о нем, указывали пальцем на лоб.

Спустя около года после переселения за город, кузнецу пришлось зайти в харчевню, чтобы повидаться с одним из своих заказчиков. В ней сидели слуги флорингенского графа. Он не обратил на них внимания, но они начали приставать к нему и дразнить его. Некоторое время Адам сдерживался, но когда рыжий Валентин перешел уже всякие границы, он вспылил и сильным ударом кулака повалил его на землю. Тогда остальные скопом навалились на него и потащили в замок своего господина. Там его держали в заключении около полугода, после чего привели его к графу, который освободил его «ради прелестных глаз Флоретты».

С тех пор прошли годы, и Адам все время спокойно проживал со своим сыном на «лобном месте». Он старался избегать общества, но в лице доктора Косты судьба послала ему единственного и верного друга.

III

Отец Бенедикт видел кузнеца в последний раз вскоре после его возвращения из заключения, встретив как-то близ монастырской исповедальни. Так как этот монах в молодости служил в императорской кавалерии, то на него, несмотря на его духовный сан, было возложено заведование конюшнями богатого монастыря, и он в прежнее время не раз приводил лошадей в кузницу на рынке. Но с тех пор как монастырь поссорился с городом, отец Бенедикт решил ковать лошадей в другом месте. Тут он вспомнил об искусном кузнеце, переселившемся за город, и направился к нему. Они оба обрадовались встрече, и Адам поспешил предоставить свою кузницу и свое искусство в распоряжение монастыря.

– Уже поздненько, Адам, – сказал монах, распуская отсыревший кожаный пояс, который имел обыкновение надевать при верховой езде. – Гроза застигла нас в дороге. Рыжий до того все время пугался грома и молнии, что едва не вывихнул руку конюху Гецу. Он то и дело кидался в сторону, и вот мы никак не могли добраться до вас засветло, а впотьмах и вы с ним не справитесь.

– С Рыжим-то? – спросил кузнец низким, звучным басом и вставил горящую лучину в железное кольцо возле горна.

– Вот именно! Он терпеть не можетковки. А ведь каков конь! Во всем монастыре нет ему подобного. У нас никто

не может с ним справиться, но вы... вы в прежние годы... Гм, гм... Вы, однако, тоже не помолодели, Адам. Наденьте-ка шапочку, волосы-то ваши, право слово, порядком поредели, так что лоб уже сливается с затылком! Но рука, рука-то осталась ведь прежняя? Помните, как вы в Родебахе пополам раскололи наковальню?

– Что о том вспоминать, – ответил кузнец вежливо, но решительно. – Рыжего я подкую завтра рано утром, сегодня впрямь поздно.

– Так я и полагал! – воскликнул монах и всплеснул руками. – Вы знаете, мы не в ладах с горожанами из-за мостовой пошлины. Лучше в крапиву, чем в эту проклятую яму! Ведь конюшня ваша достаточно просторна, и у вас, наверное, найдется связка соломы для бедного брата во Христе. Больше мне ничего не нужно, еда у меня с собой.

Кузнец в смущении опустил глаза. Он не любил гостей, и под его кровлей еще никогда не ночевал ни один посторонний человек. Все, что нарушало его одиночество, было ему неприятно. Однако ему совестно было отказать давнему знакомцу, и потому он холодно ответил:

– Я живу один здесь с моим сынишкой, но если вы не взыщете за нашу убогую обстановку, то место для вас найдется.

Монах буквально просиял, словно его пригласили самым радушным образом. Пристроив лошадей и конюха, он последовал за хозяином в находившуюся при мастерской жилую комнату и положил свою суму на стол.

– Вот и закусточка, – сказал он, смеясь, вынимая из сумки жареную курицу и белый хлеб, – а как же быть с вином? Мне после того, как я так промок, необходимо что-нибудь согревающее. Не найдется ли в вашем погребе бутылочки?

– Нет, – сухо ответил было кузнец, но тотчас же, одумавшись, прибавил: – Впрочем... я найду, чем вас угостить.

Он отворил стенной шкаф, вынул бутылку вина и налил монаху стакан. Тот с удовольствием выпил, крякнул и провел ладонью по животу, затем, ухмыльнулся, уставился на кузнеца своими круглыми глазами и сказал:

– Если такой виноград растет на ваших елях, то я желал бы, чтобы Господь Бог подарил прародителю Ною вместо виноградной лозы елочку. Клянусь всеми святыми, у самого архиепископа в погребах не сыщется такого вина. Дайте-ка мне еще глоточек и скажите, где вы достали эту драгоценность?

– Вино это мне подарил Коста.

– Этот колдун, этот иудей! – воскликнул монах и отодвинул от себя стакан. – А впрочем, – прибавил он полушутя, полусерьезно, – ведь если поразмыслить хорошенько, то ведь и вино, употреблявшееся при священной Христовой трапезе и в Кане Галилейской, и то, которым услаждался царь Давид, тоже когда-то хранилось в еврейских погребах.

Монах, очевидно, ожидал, что Адам встретит его шутку улыбкой или словом одобрения, но бородатое лицо кузнеца оставалось серьезным. И Бенедикт продолжал менее ве-

селим тоном:

– Вы бы тоже выпили стаканчик, хозяин. Вино, если его употреблять в меру, веселит сердце человека, а у вас, по-видимому, не очень-то весело на душе. Я знаю, и вы испытали горе в вашей жизни. Но у всякого свои печали, а вы недаром называетесь Адамом, и ваше горе идет от Евы.

При этих словах кузнец отнял руку от бороды и стал двигать взад и вперед кожаный колпак на своем голом черепе. Он уже собирался резко ответить монаху, когда его взор упал на Ульриха, остановившегося на пороге и с удивлением смотревшего на монаха, так как он никогда не видел ни одного гостя у своего отца, кроме доктора Косты. Мальчик, однако, скоро оправился от неожиданности и поцеловал руку монаха. Тот взял его за подбородок, несколько приподнял голову красивого ребенка, потом взглянул на Адама и воскликнул:

– Рот, нос и глаза у него – матери, но лоб и голова вылиты из той же формы, что и ваши.

Кузнец слегка покраснел и, желая прекратить неприятный для него разговор, обратился к сыну:

– Ты поздно возвратился. Где пропадал так долго?

– Я был в лесу с Руфью. Мы вязали хворост для кухни Косты.

– Как! До сих пор?

– Нет, Рахиль сварила лапшу, и доктор пригласил меня поужинать у них.

– Ну, хорошо, ступай спать. Но прежде отнеси конюху в конюшню что-нибудь поесть, а затем постели чистые простыни на мою постель. Завтра приходи пораньше в мастерскую, нужно будет подковать лошадь.

Мальчик взглянул на отца в раздумье и сказал:

– Я не против, но дело в том, что доктор изменил часы уроков. Завтра он назначил урок рано утром.

– Хорошо, мы справимся и без тебя. Ну, спокойной ночи! Монах слушал их разговор внимательно и с явно заметным недовольством. При этом лицо его приняло суровое выражение. Он некоторое время укоризненно смотрел на кузнеца, затем отодвинул от себя стакан и сказал с явным раздражением:

– Это что же такое, друг Адам? Еврейское вино – это еще куда ни шло. Пожалуй, и лапша, хотя христианскому ребенку и не пристало есть из одного блюда с людьми, предки которых пролили кровь Спасителя. Но как вы, верующий христианин, можете допускать, чтобы неразумный мальчишка учился у проклятого иудея!

– Оставьте это, – сказал кузнец, стараясь положить конец неприятному для него разговору.

Но монах никак не мог успокоиться и продолжал еще громче и решительнее:

– Нет, я этого так не оставлю! Слыханное ли дело! Крещеный христианин посылает своего родного сына в учение к неверному христородавцу!

– Но выслушайте меня, отец Бенедикт...

– Нет, не мне вас должно слушать, а вам меня, вам, взявшему в учителя нечестивца для своего несчастного ребенка. Знаете ли, что это такое? Неслыханный грех, самый тяжкий их грехов! Этого богопротивного поступка вам ваш духовник ни за что не спустит!

– Что за грех, что за богопротивность?! – сердито прооркотал кузнец.

При этих словах кровь бросилась монаху в голову, и он воскликнул угрожающим тоном:

– Ого, господин кузнец! Смотрите, как бы не вышло худо! Духовные власти знают свое дело. Повторяю вам, не посылайте мальчика к жиду, а то...

– А то? – повторил с усмешкой кузнец и пристально посмотрел в лицо монаху.

Тот еще крепче сжал губы и добавил, немного помолчав:

– А то и вам, и этому бедняге-доктору не избежать справедливого наказания. Урок за урок. Мы за последнее время как-то обабились и уже давно не сожгли – в назидание другим – ни одного хриstopродавца.

Эти слова произвели желанное действие. Кузнец был не из трусливого десятка, но монах пригрозил тем, против чего он чувствовал себя столь же бессильным, как против бури и молнии. Его лицо приняло страдальческое выражение, и, протянув руки к монаху, он воскликнул встревоженным голосом:

– Нет, нет! О себе я не беспокоюсь. Никакие ваши наказания не могут сравниться с теми страданиями, которые я и без того испытываю. Но если вы сделаете что-нибудь с доктором, то я прокляну тот час, в который я пригласил вас переступить мой порог!

Монах с удивлением посмотрел на кузнеца и сказал более мягким голосом:

– Вы всегда шли своей дорогой, Адам, и смотрите, к чему вы пришли? Что, вас заколдовал этот Коста, что ли? И что вас вообще так привязывает к нему? Вы за него испугались больше, чем могли бы испугаться за себя. Никто не должен раскаиваться в том, что пригласил к себе в гости Бенедикта. Образумьтесь, будьте благоразумны, и – Боже мой, ведь мы тоже люди, – и мы тоже можем на кое-что смотреть сквозь пальцы. Разве вы чем-нибудь особенным обязаны доктору Косте?

– Многим, отец Бенедикт, очень многим! – воскликнул кузнец, и в его голосе еще звучал страх, к сожалению, небезосновательный, за своего верного друга. – Выслушайте меня, и после того как вы узнаете, что он для меня сделал, и если у вас не каменное сердце, я уверен, вы не сообщите настоятелю то, что вы здесь видели и слышали. Умоляю вас, не делайте этого! Видите ли, если бы из-за меня с доктором приключилось какое-либо несчастье, из-за меня...

Голос его оборвался, и он дышал так прерывисто, что кожаный фартук его то поднимался, то опускался.

– Успокойтесь, – сказал монах, на этот раз почти ласковым голосом. – Все уладится, все устроится. Садитесь-ка и расскажите, в чем дело, чем таким особенным вы обязаны доктору?

Кузнец, несмотря на это приглашение, остался стоять и принялся рассказывать.

– Я не мастер говорить. Но дело вот в чем. Когда они потащили меня в тюрьму – знаете, из-за Валентина, – мне было так больно и жутко, что этого никто не поймет. Пока я там сидел, Ульрих оставался здесь один и некому было о нем заботиться, потому что нашей старой служанке перевалило за семьдесят, а все свое добро я закопал в безопасном месте, и в доме осталось хлеба да мелкой монеты не более как на три дня. Я все думал о ребенке, только о ребенке, о том, как он здесь умрет от голода и холода. Когда они меня наконец выпустили на свободу и я пошел домой, два часа пути показались мне двумя долгими днями. Что стало с Ульрихом? Найду ли я его в живых? Уже стемнело, когда я добрался до своего дома. Дверь оказалась запертой, и все как будто вымерло. Я стал стучать в двери и ставни, сначала потихоньку, потом все громче и громче, но никто не отзывался. Наконец из соседнего дома вышла старуха Лаура, и от нее я узнал, что моя служанка сошла с ума и была отправлена в больницу, а Ульрих опасно заболел, и его взял к себе доктор Коста. Когда я узнал об этом, то рассердился не меньше, чем вы четверть часа тому назад, и мне стало так стыд-

но, словно я был выставлен к позорному столбу. Мой сын – у иудея! Тут нечего было долго раздумывать, и я поспешил к дому доктора, увидел свет в окне и заглянул в него. Направо, у стены, стояла кровать, и в ней лежал на белых подушках мой малец. Возле него сидел доктор, который держал в своей руке руку ребенка. Маленькая Руфь ластилась к нему и по-нукала его: «Ну, ну, папа!» Он улыбнулся... ведь вы его знаете, отец Бенедикт! Ему тридцать с небольшим лет, и у него такое кроткое, бледное лицо... Он улыбнулся и произнес таким радостным голосом, как будто Ульрих был родной его сын: «Слава Богу, он останется жив». И девочка побежала к своей немой матери, сидевшей у печки и разматывавшей нитки, и воскликнула: «Мама, мама, он выздоровеет! За это ведь я и молилась каждый день о нем Богу». Еврей наклонился над моим ребенком и поцеловал его в лоб... а я – я разжал сжатый было кулак и чуть не разрыдался, как ребенок, и с тех пор, отец Бенедикт, с тех пор...

Кузнец замолчал. Монах же встал, положил свою руку на его плечо и сказал:

– Уже позднеенько, Адам. Укажите-ка, где мне лечь. Ведь завтра тоже будет день, а важные решения лучше хорошенько обдумать. Но верно только одно: парень не должен брать уроков у Косты. Пусть он вам лучше помогает завтра ковать лошадей. Поняли, мастер?

Кузнец ничего не ответил; он взял со стола свечку и проводил монаха в ту комнату, в которой обычно спал сам

со своим сыном. На его кровати были постланы для гостя чистые простыни. Ульрих давно уже улегся и, казалось, спал.

– У нас нет лишней комнаты для вас одного, – сказал Адам, указывая на спящего мальчика. Но монах приветливо ответил, что ребенок ему нисколько не мешает. После того как кузнец ушел, он стал разглядывать красивое, здоровое лицо Ульриха.

Рассказ Адама несколько взволновал Бенедикта, и он не сразу лег в постель, а задумчиво шагал по комнате, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить ребенка.

«Адам имеет полное основание, – размышлял он, – быть благодарным доктору. Да, наконец, почему бы и не быть достойным еврею?»

Монах вспомнил о библейских старцах, о Моисее, Соломоне и о пророках. К тому же разве сам Христос не родился от еврейки, разве святые апостолы Иоанн и Павел, которых он особенно уважал, не вышли из еврейского народа? Наконец он решил, что бедному Адаму пришлось вытерпеть много горя и что к нему следовало относиться снисходительно. Но тем не менее монах находил, что он исполнил только свою обязанность, предупредив кузнеца, а необходимо было раз и навсегда положить конец замеченному им злу. И мог ли еврей научить добру мальчика в эти времена ереси и безверия? Правда, до сих пор в здешних местах, Благодарение Богу, еще не появлялось лжеучение, но тем не менее и тут недавние крестьянские бунты доказали, что крестьяне зави-

дуют могуществу рыцарей, богатству горожан и влиянию духовенства. Он пришел в конце концов к тому заключению, что на этот раз можно быть снисходительным и пощадить иудея – но только при одном условии.

Когда Бенедикт наконец снял рясу и стал искать крючок, чтобы повесить ее, то заметил на выступе печки несколько досок. Он взял одну из них и увидел на ней нарисованный искусной рукой кузнеца эскиз решетки, а на другой – выведенный углем портрет. Последний возбудил любопытство монаха; чтобы получше разглядеть его, он поднес к нему зажженную лучину – и в испуге отскочил, потому что увидел, хотя и довольно грубо намалеванный, но поразительно похожий портрет доктора Косты, которого он хорошо знал в лицо, так как не раз его встречал.

Монах с досадой покачал головой, однако взял портрет в руки и стал пристально рассматривать, бормоча себе под нос какие-то непонятные слова. Когда он затем довольно резким движением поставил портрет на прежнее место, Ульрих проснулся и воскликнул не без гордости:

– Отец Бенедикт, это я сам нарисовал.

– Вот как! – ответил монах. – Мне кажется, что сын благочестивого кузнеца мог бы подыскать себе более подходящие оригиналы. Сейчас спи, а завтра утром вставай пораньше и помогай отцу. Понял?

С этими словами он не особенно нежной рукой повернул мальчика лицом к стене, и мягкого расположения духа, ко-

торое вызвал в нем рассказ кузнеца, как не бывало. Слыханное ли дело! Адам до того сдружился с евреем, что даже позволяет своему сыну рисовать его портрет! Нет, этого нельзя допустить! Он улегся в постель и стал раздумывать над тем, как поступить в этом казусном случае. Но сон вскоре прервал нить его размышлений.

Ульрих встал, как ему было сказано, рано утром, и когда патер при дневном свете снова увидел красивого мальчика и нарисованный им портрет Косты, на него напало точно какое-то наваждение, и он решил уговорить кузнеца отдать Ульриха в монастырскую школу.

IV

Отец Бенедикт утром был совершенно иным человеком, чем накануне вечером за стаканом вина. Он холодно и сдержанно отвечал на все вопросы кузнеца, пока тот не отправил сына учиться. Перед этим Ульрих помог отцу подковать рыжего жеребца. Ему достаточно было погладить лошадь по глазам и по морде и произнести несколько ласковых слов – и упрямый конь стал кротким, как ягненок.

– Этого парнишку, – говорил кузнец с самодовольной улыбкой, – с малых лет слушались самые необузданные лошади. Бог его знает, в чем тут секрет.

Монах взял эти слова на заметку, потому что у них в монастырской конюшне были еще две лошади с норовом, и практичный патер живо смекнул, что за то, что мальчик получит в школе, он с лихвой оплатит в конюшне.

Когда кузнец закончил работу, монах объявил ему самым благоприятным тоном, что парня следует отдать в монастырь. Ближе к Иванову дню в школе откроется вакансия, и она будет предоставлена Ульриху. При этом патер не преминул указать кузнецу, какое этим оказывается благодеяние и какая для мальчика будет честь получить воспитание в кругу знатных товарищей. Он не забыл также упомянуть, что его там научат и рисованию. О том, изберет ли он затем духовную или светскую карьеру, можно будет погово-

рить и впоследствии. Мальчику придется решать этот вопрос лишь через несколько лет, причем никто не будет оказывать на него давления.

Таким образом, дело устроится как нельзя лучше. Косту можно было оставить в покое, а сын кузнеца будет избавлен от его зловредного влияния. Монах не допускал никаких возражений. Он поставил ультиматум; или Ульрих будет отдан в монастырскую школу, или капитулу будет выставлено обвинение против доктора Косты. Через четыре недели, в Иванов день – так решил Бенедикт, – кузнец со своим сыном должен явиться в монастырь. У него, вероятно, есть кое-какие сбережения, а времени достаточно, чтобы прилично одеть и обуть мальчика, так как он не должен отличаться по внешности от своих будущих товарищей.

Кузнец во время этого разговора чувствовал себя в положении лесного зверя, все более и более запутывающегося в тенетах охотника, и не решался сказать ни «да» ни «нет». Монах и не настаивал на положительном ответе, но он возвращался домой в сознании, что вырвал молодую душу из когтей дьявола и что в то же время сделал хорошее приобретение для монастырской школы и конюшни. Это веселило его сердце.

Адам остался один у своего горна. В прежнее время он имел обыкновение, когда ему взгрустнется, схватывать большой молот и заглушать свое горе тяжелым трудом. Но сегодня он не прикасался к молоту, потому что сознание своего

морального бессилия отнимало у него и физическую силу. Он стоял, понурив голову, точно надломленный ствол дерева. Ему было бы трудно выразить волновавшие его мысли в определенной форме, но его воображению представлялась опустевшая кузница, в которой он работает один, без Ульриха. Вдруг ему пришла на ум мысль запереть кузницу, взять мальчика за руку и уйти с ним, куда глаза глядят. Но что станет тогда с Костой? И, наконец, где же тогда найдет его неверная Флоретта, если она когда-нибудь вздумает возвратиться к нему? Нет, это не годится.

Ульрих не возвращался. Не отправился ли он на урок к доктору? При этой мысли Адам вздрогнул. Как бы проснувшись от глубокого сна, он протер себе глаза и отправился в свою спальню. Там он снял кожаный фартук, обмыл лицо и руки, надел городское платье, в которое он облачался только отправляясь в церковь или к доктору, и вышел на улицу.

Гроза очистила воздух, и утреннее солнце весело освещало черепичные крыши убогих домишек «лобного места». Его лучи отражались в маленьких круглых окошечках и играли на верхушках деревьев ближайшего леса. Светлая зелень буков составляла приятный контраст с темной зеленью хвойных деревьев. Но и последние старались не отставать от своих соседей, и молодые побеги их смело могли соперничать яркостью своей зелени с более нарядными лиственными деревьями. Весь лес оглашался веселым пением, ще-

бетанием, стрекотанием. Тысячи цветов, белых и красных, желтых и синих, раскрыли свои чашечки пчелам или распустили звездочки для украшения лесного ковра, или же гордо подняли свои головы над мягкой муравой. После освежающего дождя грибы поспешили выползти из-под земли и сгруппироваться вокруг нарядных мухоморов. Лесной ручей с приятным журчанием ниспадал с утеса и спешил, шлифуя встречавшиеся по дороге камни, в долину. И в воде жизнь, и по сторонам ее жизнь, и над нею жизнь.

На небольшой, окруженной лесом поляне дымится угольная яма. Здесь дышится не так легко, как рядом, в лесу. Там, где природа предоставлена сама себе, она умеет сохранить свою красоту и чистоту, но там, где к ней прикасается человек, первая искажается, а вторая пятнается. Казалось, будто солнце желает яркими лучами своими помешать густому дыму подниматься к небу, и поэтому дым спешит разостлаться по земле. На опушке леса сооружен шалаш, в нем сидит Ульрих и беседует с углежогом. Соседи называют его «висельником Марксом», и его черные лохмотья составляют разительный контраст с праздничным убором природы. У него широкое плоское лицо, рот сильно скривлен, и косматые светло-рыжие, как бы полинявшие волосы так низко спускаются на узкий лоб, что совершенно закрывают его и прикасаются к густым бровям. Из-под бровей едва выглядывают глубоко сидящие глаза; и хотя они смотрят только сквозь узкую щель, образуемую полузакрытыми веками, однако они заме-

чают каждую пылинку. Ульрих мастерит стрелу и то и дело обращается к углежогу с разными вопросами; каждый раз, когда тот собирается отвечать, мальчик громко хохочет, потому что для того чтобы говорить, Марксу приходится каждый раз с весьма комичным подергиванием всего лица привести прежде свой скривленный рот в надлежащее положение.

Сегодня между обоими, столь неравными по возрасту и столь несхожими по внешнему виду товарищами обсуждается нечто весьма важное. Углежог приглашает мальчика снова прийти к нему вечером, в сумерки. Он выследил знатного оленя и наведет его на выстрел Ульриха. Трактирщик справляет на днях свадьбу своей дочери Гретхен, и ему понадобится жаркое для свадебного обеда. Конечно, Маркс мог бы и сам подстрелить оленя; но дело в том, что если станут доискиваться, у кого трактирщик раздобыл оленя, то Марксу можно будет со спокойной совестью показать под присягой, что он не подстреливал оленя, а нашел его в лесу уже подстреленным.

Дело в том, что Маркс слыл в околотке отъявленным браконьером, и не без основания. Самим своим прозвищем «висельник Маркс» он был обязан тому обстоятельству, что однажды уже украшал своей особой виселицу. И вместе с тем он честнейший человек, так как искренне убежден в святости той истины, что вода, лес и пастбище – общее достояние. Этого принципа придерживался и покойный отец его,

и им же он сам руководствовался всю свою жизнь. У него нельзя было выбить из головы, что все живущее в лесу принадлежит столько же ему, как и рыцарям, городу или монастырю. Этот оригинальный взгляд причинил ему немало горя в жизни; ему же он был обязан и своим прозвищем, и искривленным ртом. Будучи еще совершенно молодым человеком, он однажды повстречался с отцом нынешнего графа в тот момент, когда только что подстрелил в «составлявшем общее достояние» лесу молодого оленя. Граф велел связать ноги убитого оленя, а Маркса заставил взять узел веревки в зубы и тащить ртом тяжелое животное в гору, до самого графского замка. При этом юноша разорвал себе щеку, и это, конечно, не увеличило его уважения к графу. Когда вскоре после того начался в той местности крестьянский бунт, и Маркс узнал, что крестьяне всюду ополчаются против господ и попов, он присоединился к бунтовщикам³ и «работал» сначала в отряде Ганса Мюллера из Бульгенбаха, а затем Якоба Рорбаха из Бекингена. Он участвовал при разграблении замка Нейенштейн и при взятии замка Вейнсберг; сердце его радовалось при виде того, как вейнсбергский граф был поднят на копья и как знатную графиню Вейнсберг провезли мимо него на навозной телеге в Гейльброн.

Возмутившиеся крестьяне, и вместе с ними Маркс, были уверены, что теперь они сделаются господами, что многовековому гнету будет положен конец, что несправедли-

³ Речь идет о событиях Крестьянской войны 1525 года в Германии.

вая барщина и десятинные налоги будут навсегда отменены. Из двенадцати пунктов⁴, в которых были выражены требования крестьян, углежог особенно хорошо помнил четвертый: «Всякому предоставляется право беспрепятственно ловить лесных зверей, птиц и рыб». Он также толковал по-своему евангельские изречения о том, что беднякам принадлежит Царствие Небесное и что первые сделаются последними. Вожаки, по всей вероятности, мечтали об освобождении народа от невыносимого гнета; но Маркс, как и большинство его невежественных товарищей, сторали прежде всего желанием отомстить своим вековым мучителям. Никогда еще углежог не ел и не пил так сладко, как в это счастливое для него, но – увы! – столь скоро миновавшее время. Сознание удовлетворенной мести было еще слаще самых сладких яств и вкусных вин; а когда ему, в толпе озлобленных крестьян, удавалось взять какой-нибудь рыцарский замок, и растерянная владелица его молила о пощаде, ему казалось, что он предвкушает блаженство рая. Но недолго продолжалось это блаженство: при Зиндельфингене граф Трухзес фон Вальдбург⁵ разбил крестьян наголову, и Маркс, вместе со многими тысячами других, попал в плен. Его и нескольких других вожаков вздернули на виселицу, но только на смех и в виде предосте-

⁴ Двенадцать пунктов – политическая программа восставших крестьян, носившая умеренный характер.

⁵ Георг Трухзес фон Вальдбург (1488–1531) – командующий армией союза рыцарей, князей и городов, противостоявшей восставшим в период Крестьянской войны.

режения остальным, потому что, прежде чем последовала их смерть, их вынули из петли, отрезали указательные пальцы, жестоко высекли розгами и снова обратили в прежнее рабство.

Возвратившись домой, он узнал, что за его участие в восстании у его семьи отняли дом, и она прозябала в величайшей нищете. Отец кузнеца Адама, которому он прежде поставлял уголь, выкупил его дом и дал ему работу; а когда однажды в город явился отряд всадников для розысков участников восстания, он позволил ему скрываться в течение трех дней в своем сарае. С тех пор в Швабии установилось спокойствие, хотя поля, леса, луга и даже вода продолжали составлять собственность дворян.

Маркс был бобылем. Жена его давно умерла, а взрослые сыновья занимались сплавом леса в Майнц, Кёльн и даже в Голландию. Он чувствовал себя многим обязанным кузнецу Адаму и старался по-своему отблагодарить его за это тем, что учил его сына искусству браконьерства и другим не вполне подходящим для благовоспитанного мальчика вещам, но Ульриху это доставляло удовольствие, а Марксу – выгоду. Мальчику уже исполнилось пятнадцать лет, и он был превосходным стрелком. Вместе с тем он старался привить душе и сознанию мальчика свои оригинальные взгляды на равенство людей. Так и сегодня, когда Ульрих ему высказал чуть ли не в сотый раз свои сомнения относительно того, не грешно ли стрелять дичь, принадлежащую графу, уг-

лежог, вправив по возможности свой искривленный рот, серьезно ответил:

– Ведь ты же знаешь – лес, вода и луга принадлежат всем.

Мальчик задумчиво уставился в землю и наконец спросил:

– И поля тоже?

– Поля? – переспросил удивленный Маркс.

– Поля? Нет, поля совсем другое дело. – При этом он указал глазами на засеянное им овсяное поле, только что покрывшееся свежей зеленью. – Поля, – продолжал он, – это дело рук человеческих, и они принадлежат тому, кто их возделал; но лес и луга растит Бог, и воду он тоже создал на потребу человека. Понимаешь? То, что Бог создал для Адама и Евы, принадлежит всем.

Когда солнце поднялось над лесом, и в последнем раздался крик кукушки, Ульрих вдруг услышал, что кто-то громко, несколько раз кряду позвал его по имени. Он быстро отбросил в сторону стрелу, которую только что выстругал и, поспешно кинув: «Когда стемнеет, Маркс», – побежал в лес, где его ожидала Руфь.

Неторопливо, наслаждаясь прелестным утром, оба они пошли по лесу, вдоль извилистого ручья. Они рвали цветы, чтобы принести домой букет матери Руфи. Она вязала его своими тоненькими, изящными пальчиками; он помогал ей, обрывая слишком длинные стебли. При этом оба они болтали без умолку. Он похвастался ей тем, что патер Бенедикт

видел нарисованный им портрет ее отца, тотчас же узнал его и при этом что-то проговорил сквозь зубы. В жилах Ульриха текла кровь его матери, и он, силою воображения, значительно превосходил своих сверстников с «лобного места».

От отца своего, а еще более от доктора Косты, он слышал многое о далеких странах, о королях, героях и великих художниках; от висельника Маркса он узнал, что имеет такие же права, как и всякий другой, – и вот в его глазах венки, которые он плел вместе с Руфью, превращались в королевские короны; шалашик из хвороста, выстроенный ими позади дома доктора, – в блестящий дворец; круглые камешки – в гульдены и дукаты⁶; хлеб и яблоки, которые им давали на завтрак, – в роскошные яства; две табуретки, поставленные ими перед дерновой скамьей, на которой они сидели, – в дорогих рысаков; а сама дерновая скамья – в позолоченную царскую карету. Она была королевой, а он – королем, или же она феей, а он – волшебником.

Когда Ульрих играл с уличными мальчишками, он всегда был предводителем их, но безусловно подчинялся во всем Руфи. Он знал, что доктор – презренный еврей, а Руфь – иудейское дитя; но он знал также, что его отец уважал

⁶ Дукат (итал. ducalo, от позднелат. ducatus – герцогство) – старинная серебряная, а затем золотая монета, выпущенная впервые сицилийским герцогством Апулия в 1140 году и получившая распространение по всей Западной Европе в качестве самой высокопробной (3,4–3,5 г чистого золота) монеты. Дукат как торговая денежная единица продолжал играть роль вплоть до первой мировой войны.

доктора, а вся обстановка жилища последнего производила на него обаятельное впечатление. Когда Ульрих вступал в его жилище, то ощущал легкую дрожь, будто переступая порог святыни. Ему единственному из всех соседних мальчиков разрешалось входить в этот дом, и он это высоко ценил, так как несмотря на свою молодость отлично понимал, что тихий, добрый, кроткий, но вместе с тем и столь ученый доктор стоял неизмеримо выше тех жалких существ, прозябавших на «лобном месте», которые своими мозолистыми руками добывали свой скудный хлеб и вели отчаянную борьбу за существование. Он считал все возможным для доктора, даже невозможное. Да и сама Руфь представлялась ему чем-то особенным, какой-то замысловатой игрушкой, которой позволяли играть ему, и только ему одному. Случалось, правда, что, когда она чем-нибудь сердила его, он ее обзывал гадкой девчонкой; но, с другой стороны, его нисколько не удивило бы, если бы она предстала перед ним прекрасной царицей или жар-птицей.

Когда они приблизились к дому, Руфь села на камень и сложила сорванные цветы на колени. Он присоединил к ним и свои цветы, и, когда был связан большой и красивый букет, она показала его ему, и он нашел его очень красивым. Но она громко вздохнула и сказала:

– А я желала бы, чтобы в лесу росли розы, но не шиповник, а такие розы, какие растут в Португалии: большие, пунцовые и пахучие. Ничего не может быть лучше запаха та-

ких роз.

Вообще всегда в своих мечтаниях и желаниях Руфь уносила далеко-далеко, и Ульрих невольно следовал за нею. Теперь ее детски-наивное желание напомнило ему о том слове, о котором они говорили накануне, и они снова заговорили о нем. Он признался ей, что из-за этого слова он ночью просыпался три раза. Руфь объявила, что и она много о нем думала, и прибавила:

– Вот если бы теперь кто-нибудь сказал мне это слово, то я знаю, чего бы пожелала: чтобы мы были совершенно одни в целом свете – ты, я, мой отец и моя мать.

– И моя матушка, – присовокупил Ульрих каким-то умоляющим голосом.

– И еще твой отец.

– Да, конечно, и он также, – поспешно сказал мальчик, как бы торопясь исправить какое-то упущение.

V

Солнце ярко светило в окна домика доктора Косты. Они были наполовину отворены, чтобы открыть весеннему воздуху доступ в комнаты, но занавешены зелеными шторами, чтобы оградить внутренность жилища от посторонних взоров. Обстановка квартиры была очень простая. Стены гостиной были выбелены, и на одной из них висел большой венок из лавандовой травы, запах которой особенно любила мать Руфи. Вся мебель комнаты состояла из стола, двух простых деревянных кресел, покрытой ковром скамейки и нескольких табуретов.

На одном из кресел обычно восседал Адам, когда ему случалось играть с доктором в шахматы. Он еще в Нюрнберге имел случай присмотреться к этой благородной игре; доктор же был основательно знаком с нею и посвятил Адама во все ее тонкости. В первые два года Коста значительно превосходил своего ученика, потом ему приходилось серьезно обороняться, а теперь нередко случалось, что кузнец побеждал ученого, хотя, правда, последний играл гораздо быстрее, а первый непомерно долго обдумывал каждый ход.

Вряд ли когда-либо над шахматной доской соприкасались столь несхожие между собой руки, как красная мозолистая, загрубелая рука кузнеца и нежная, тонкая, изящная рука доктора. Вообще рядом с коренастой фигурой Адама Коста

казался тщедушным, хотя он был среднего роста. Не меньший контраст составляли большая белокурая голова Адама и точно выточенное, смуглое лицо португальского еврея. В этот день доктор и кузнец не играли в шахматы, а беседовали долго и серьезно. Доктор встал со своего места и беспокойно ходил по комнате; кузнец же все время оставался в кресле. Было решено отправить Ульриха в монастырскую школу. Адам сообщил также своему другу об угрожавшей ему опасности, и тот сильно взволновался. Он не скрывал от себя размеров ее, и тем не менее ему тяжело было покинуть этот мирный уголок. Адам чувствовал, что происходило в душе доктора, и сказал:

– Вам, я вижу, не хочется уезжать. Но я не понимаю, что удерживает вас здесь, в этом жалком месте.

– Меня удерживает здесь спокойствие, мой друг, спокойствие! – воскликнул Коста. – И, кроме того, я приобрел здесь земельную собственность.

– Вы!

– Да, я. Могила и могилка позади дома палача, вот мое имя.

– Тяжеленько, тяжеленько покинуть их, – заметил кузнец и поник головою. – И все это обрушивается на вашу голову из-за доброты вашей к моему парнишке. Хорошо же мы оплатили вам!

– При чем тут плата? – сказал доктор, и на губах его показалась тонкая улыбка. – Я не жду вознаграждения ни от вас,

ни от судьбы. Видите ли, Адам, я принадлежу к бедной общине, которая во всех своих действиях не руководствуется соображением, последует ли отплата за них здесь, на Земле, или же там, на небе. Мы любим добро и высоко ценим его, и творим его по мере сил наших, потому что оно прекрасно. Что люди называют добром? То, что дает душе покой. А что такое зло? То, что тревожит ее. Говорю вам, Адам, у тех, которые стараются делать добро, на душе спокойнее, хотя бы их гнали и преследовали, и травили, и мучили, как диких зверей, чем на душе их могущественных гонителей, творящих зло. Того, кто ищет других наград за сделанное добро, кроме тех, которые заключаются в самом сознании человека, ожидают горькие разочарования. Не вы, не Ульрих, не они гонят меня отсюда, а гонит то вечное проклятие, которое не дает моему народу нигде успокоиться. Это... это... впрочем, пока довольно. Мы еще поговорим в другой раз, завтра.

Оставшись один, Коста сжал руками лоб и глубоко вздохнул. Ему вспомнилась вся прежняя его жизнь, и он нашел в ней рядом с тяжелым горем много хорошего и радостного и с гордостью мог сказать себе, что в нем ни на единый час не ослабевала любовь к добру. Здесь, среди тихого мира, в скромной домашней обстановке, он провел счастливые годы, и вот снова ему приходилось брать в руки страннический посох и идти, идти, куда глаза глядят, не имея перед собой определенной цели в конце трудного пути. То, что составляло до сих пор его счастье, усугубляло теперь его несчастье.

Тащить с собой жену и ребенка, подвергать их всевозможным лишениям – было тяжело, крайне тяжело. Да еще неизвестно, в состоянии ли будет еще раз вынести все это его Лиза, здоровье которой было сильно подорвано.

Он пошел к жене и застал ее в садике позади дома. Она наклонилась над грядкой и вырывала сорную траву. Он ласково окликнул ее; она приподнялась и поманила его к себе.

– Присядем, – предложил он и направился к скамейке у изгороди, отделявшей сад от леса. Там он решил сообщить ей, что им снова приходится отряхнуть прах с ног своих и идти в далекий Божий мир.

В Португалии, на дыбе, Лиза лишилась языка. Только в минуты крайнего возбуждения она в состоянии была произнести, и то крайне невнятно, несколько слов; но Коста выучился читать и по глазам ее. Тяжкие страдания провели глубокую морщину на красивом лбу женщины, и эта морщина также отчасти заменяла ей язык; когда она была спокойна, морщина едва виднелась, но при малейшем волнении или огорчении она углублялась. В этот день ее совсем не было заметно. Белокурые волосы Лизы плотно прилегали к вискам, и вся ее несколько наклоненная вперед фигура напоминала деревце, согнутое бурей и которому недостает сил распрямиться.

– Хорошо! – произнесла она глухо и невнятно, но ее взор блестел радостью, и она показала руками на синее небо над их головой и на окружавшую их зелень.

– Очень, очень хорошо, – согласился он. – Этот прелестный июньский день отражается на твоём милом лице. Ты научилась быть счастливой.

Елизавета закивала и прижала обе руки к сердцу. При этом взор её красноречиво говорил о том, как она счастлива и благодарна судьбе. На робкий его вопрос, согласна ли она покинуть этот уголок, чтобы подыскать другое, более безопасное убежище, она взглянула на него сначала удивленным, потом тревожным взором и с трудом вымолвила наконец, замахав руками: «Не надо, не надо!» Он поспешил успокоить её словами: «Нет, нет, пока нам ещё ничего не угрожает».

Но она хорошо знала мужа и была очень наблюдательна. Она чуяла беду, лицо её приняло выражение испуга, морщина на лбу углубилась, она уставила на него вопросительно-умоляющий взор, а уста её могли произнести только отрывистые слова: «Что? что?»

– Успокойся, – упрашивал он её. – Не следует портить себе настоящее ради неизвестных ещё бед, которые может принести нам будущее.

При этих словах Лиза прижалась к нему, крепко обняла его обеими руками, а сильное биение её сердца и встревоженное выражение лица ясно показывали, как её пугает мысль о новых странствиях и о новых сопряженных с этими странствиями бедствиях. Он вспомнил все, что она вытерпела ради него; он страстно схватил её руки, и ему показалось,

что ему будет очень легко умереть вместе с нею и что невозможно снова толкнуть ее на чужбину, бросить на произвол неизвестности. Он поцеловал ее в широко раскрытые от испуга глаза и воскликнул с таким выражением, как будто его тянуло вдаль собственное глупое желание, а не настоятельная необходимость: «Да, дитя мое, здесь нам хорошо. Удовольствуемся тем, что мы имеем. Мы остаемся, право, остаемся». Она глубоко вздохнула, как бы избавившись от тяжелого кошмара, складка на лбу исчезла, и она, подняв глаза к небу, не без усилия произнесла: «Аминь».

Но у Косты было невесело на душе, когда он вернулся домой и подошел к письменному столу. Старая служанка, последовавшая за ним из Португалии, вошла вслед за ним в комнату и долго смотрела на него, качая головой. Это была маленькая кривобокая еврейка, седая, но с большими светлыми глазами; когда она разговаривала, то сильно жестикулировала руками. Она выросла и состарилась в Португалии и никак не могла привыкнуть к германскому климату. У нее здесь появились ревматические боли в лице, и поэтому она кутала голову в несколько платков. Она была крайне чисто-плотна, покупала все, что нужно для кухни, и умела с небольшими средствами отлично вести хозяйство. Она прожила уже более девяти лет в Шварцвальде, но почти вовсе не научилась немецкому языку, да и те немногие слова, которые знала, произносила так, что соседи принимали их за португальские и находили, что португальский язык имеет отдален-

ное сходство с немецким; но зато они тем лучше понимали ее жесты. Хотя она добровольно последовала за отцом доктора, но все же никогда не могла простить ему, что он привез ее с теплого юга в эту противную страну. Так как она носила еще на руках теперешнего своего господина, то многое позволяла себе в общении с ним. Она считала себя самым старым и разумным членом семейства, поэтому ей нужно было знать все, что в нем происходило, и несмотря на многочисленные платки, которыми была закутана ее голова, она отличалась необыкновенно тонким слухом.

Сегодня она опять подслушала его разговор с женой, и, когда он уселся на своем рабочем кресле и взял в руки гусиное перо, чтобы очинить его, она сперва оглянулась, чтобы удостовериться, что их никто не слышит, затем подошла к нему и сказала по-португальски:

– Не принимайтесь за работу, Лопец; сначала выслушайте меня.

– Это необходимо? – ласково спросил он.

– Если вы хотите, – сказала она раздраженным тоном, – то я могу и уйти. Сидеть спокойно на месте, конечно, удобнее, чем странствовать.

– Я тебя не понимаю.

– Что же, вы считаете ваши книги сионскими стенами, что ли? Или вам опять захотелось познакомиться с монахами?

– Ай, ай, Рахиль, ты опять подслушала! Ступай-ка лучше

на кухню.

– Сейчас, сейчас, но прежде я выскажусь. Вы притворяетесь, будто остаетесь здесь только ради госпожи. Но это неправда: вас удерживает здесь ваше писание. Я знаю жизнь, а вы и госпожа – вы точно дети. Вы тотчас же забываете всякие беды и верите, что счастье свалится на вас, точно манна небесная. Вы, конечно, ученый человек, и, когда вы возвратились из Коимбры⁷ с докторским дипломом, все носились с вами, все твердили, что доктор Лопец – светоч еврейства. А теперь что? Ах, Боже мой, вы пишете, пишете – и что от того проку? Вы не получаете за это ни одного яйца, ни полущки. Поезжайте лучше в Голландию к вашему дяде. Он, наверное, снимет с вас свое проклятие, если вы поклонитесь ему. А то надолго ли хватит вам ваших денег?

Здесь доктор прервал говорливую старуху строгим «довольно», но та никак не желала угомониться и продолжала с жаром:

– Вы говорите – довольно. Но я достаточно долго молчала, и пусть у меня отсохнет язык, если я не выскажу все, что у меня на душе. Боже, Боже, дитя мое, неужели ты совсем спятил с ума! И чем только не набили эту бедную голову! Но того ты не вычитаешь в своих книгах, что если они узнают, что произошло в Опорто, как ты взял в жены христианскую девушку, родившуюся от крещеных родителей...

При этих словах ее доктор встал, положил свою руку

⁷ Коимбра – город в Португалии; университет здесь основан в XVI в.

на плечо служанки и сказал серьезным тоном:

– Тот, кто об этом говорит, может сделаться изменником – понимаешь ли, Рахиль, изменником! Я знаю, что ты желаешь нам добра, и поэтому повторяю тебе: жена моя здесь довольна, а опасность еще очень далека, значит, мы остаемся здесь. Не забудь и того, что с тех пор как Елизавета стала моей женой, евреи избегают меня, как проклятого, а христиане – как неверного. Те запирают передо мною двери, а эти желали бы отворить передо мною двери... тюрьмы. Сюда не заберется ни один португалец, а в Нидерландах я рискую встретить какого-нибудь португальского монаха или опортского еврея, и если меня узнает кто-либо из них, то и она, и я, мы рискуем нашей жизнью. Итак, мы остаемся здесь, и ты знаешь почему. А теперь ступай в кухню.

Старуха повиновалась, хотя и крайне неохотно. Доктор же уже не садился более за свои рукописи, а долго ходил по комнате скорыми, лихорадочными шагами.

VI

Настал канун Иванова дня – срок, когда Ульрих должен был явиться в монастырь. До сих пор патер Бенедикт, согласно своему обещанию, ничего не предпринимал против Косты, и никто не тревожил последнего. Однако доктором овладевала неведомая ему доселе тревога, и он уже не в состоянии был заниматься с прежней безмятежностью духа.

Кузнецу пришлось позаботиться об экипировке Ульриха. С этой целью он отправился с мальчиком и с туго набитым кошельком в ближайший город, так как ему не хотелось обращать на себя внимание сплетников родного городка покупкой нарядного костюма для сына.

Когда они явились к портному, у Ульриха глаза разбежались при виде богатых и блестящих костюмов. Так как отец предоставил ему самому выбрать себе платье, то выбор мальчика остановился на костюме, заказанном соседним рыцарем для своего сына, но почему-то не взятом у портного. Этот костюм был сплошь синий с одной стороны и желтый с другой. Но кузнец с досадой отодвинул в сторону этот пестрый наряд, потому что выбор его сына напомнил ему страсть к пестрым нарядам его жены, принесшей ему в приданое красно-зеленое платье. Адам выбрал два скромных, темных костюма. Они пришлись по фигуре стройному мальчику, и, когда тот вернулся в нем на постоянный двор и встал перед

Адамом, последний глядел на него с каким-то благоговением; хозяин двора шепнул кузнецу, что ему давно не доводилось видеть такого красивого малого, а хозяйка, поставив на стол кружку пива, погладила Ульриха мокрой рукой по кудрям.

Вернувшись домой, кузнец позволил сыну навестить доктора в его новом костюме. Когда Руфь увидела обновку, она вскрикнула от радости и захлопала в ладоши, и затем стала ходить вокруг Ульриха и притрагиваться с детским любопытством к сукну куртки и к синим обшлагам, и снова, и снова радостно хлопать в ладоши.

Родители ее думали, что разлука с товарищем ее игр более огорчит девочку. Но она весело смеялась, когда друг прощался с ней, потому что она понимала вещи по-своему, не такими, какими они были в действительности, а такими, какими она представляла их себе. Она видела в нем уже не прежнего неуклюжего Ульриха, а сказочного принца, которого рисовало ей ее воображение; к тому же ведь он вернется к Рождеству, и вот тогда-то весело и хорошо будет играть с ним! В последнее время они почти не разлучались и постоянно придумывали то «слово», с помощью которого он надеялся получить тысячи хороших вещей для себя, а она – для него и для других.

Был субботний день – а в этот день старуха Рахиль обычно надевала на Руфь желтое шелковое платье, то самое, которое по воскресеньям надевала на нее Елизавета. Ульриху очень

наверное это платье, и каждый раз, как оно было на девочке, он был особенно ласков и услужлив с ней. Ей было тоже приятно, что прощание их совпало именно с субботним днем, и в то время, когда она гладила рукой его красивый кафтан, он гладил рукой ее шелковое платье. Они мало разговаривали между собой, потому что не привыкли много говорить в присутствии других. Зато доктор счел нужным дать Ульриху несколько полезных советов, мать Руфи крепко поцеловала его и повесила ему на шею в знак памяти золотое колечко с ярким камнем, а старуха Рахиль сунула ему на дорогу узелок со свежеиспеченными лепешками.

В полдень Иванова дня он стоял со своим отцом у ворот Монастыря. Тут же стояли резвые лошади и конюхи, и привратник объявил им, что в монастыре граф Фролинген. Кузнец побледнел, крепко прижал к груди мальчика и попросил служку вызвать патера Бенедикта. Когда тот пришел, он передал ему своего сына и понуро поплелся домой.

До сих пор Ульрих сам хорошенько не знал, следует ли ему радоваться школе или бояться ее. Все приготовления к этому важному акту его жизни были приятны, а перспектива восседать на одной скамейке с сыновьями рыцарей и богатых горожан льстила его самолюбию. Но когда он взглянул вслед удалявшемуся отцу, ему взгрустнулось, и на глазах его навернулись слезы. Монах заметил это, привлек его к себе, похлопал по плечу и сказал:

– Будь только умником, и ты увидишь, что у нас лучше,

чем там, на «лобном месте».

Эти слова заставили мальчика задуматься, и он, не оглядываясь, последовал за патером Бенедиктом на монастырский двор.

По двору расхаживали монахи; некоторые из них приподнимали голову под белым капюшоном и смотрели на нового ученика. В самой глубине двора стояло школьное здание, а между ним и церковью был разбит сад, отделявшийся высокой стеной от большой дороги.

Патер Бенедикт отворил калитку и ввел Ульриха во двор, на котором играли мальчики. Они страшно шумели, но при появлении патера игры прекратились, и будущие товарищи Ульриха стали подталкивать друг друга и измерять его любопытными взорами. Патер позвал к себе некоторых учеников и познакомил их с сыном кузнеца, затем еще раз погладил его по голове и ушел.

По случаю праздничного дня в школе не было классных занятий, и мальчики могли играть, сколько душе угодно. Поглазев немного на Ульриха и обменявшись с ним несколькими словами, они отошли от него и стали продолжать свои попытки перебросить камень через церковную крышу. Ульрих молча смотрел на них. Тут были ребята и большие, и маленькие, и белокурые, и черноволосые, но не было ни одного, с которым бы он не мог справиться. Это был первый вывод, к которому привел его беглый осмотр. Затем он стал приглядываться к игре. Сколько мальчики ни бросали камней,

все они ударялись о черепицы крыши, и ни один не перелетал через нее. Чем более он присматривался к безуспешным попыткам мальчиков, тем решительнее становилась улыбка превосходства на его губах, тем сильнее билось его сердце. Он стал искать глазами подходящий камень. Наконец взор его упал на плоский камень с острыми краями; он живо поднял его, протиснулся в ряды метальщиков, далеко откинул назад туловище, собрал все свои силы, и камень красивыми изгибами взвился в воздух. Сорок сверкающих глаз следили за его полетом, и когда он исчез за церковной крышей, раздались радостные возгласы.

Только один долговязый черноволосый мальчик не вторил общему крику, и тогда как остальные приглашали Ульриха повторить свой бросок, он стал искать камень, чтобы потягаться с «новичком», что ему едва не удалось. Ульрих же бросил за первым камнем второй, и опять с тем же успехом. Тогда черноволосый Ксаверий тоже схватил новый камень, и все ученики до того увлеклись игрой, что ничего не видели и не слышали, пока не раздался низкий, но приятный голос, воскликнувший: «Перестаньте бросать камни, ребята. Храм Божий – не игрушка».

При этих словах младшие мальчики выронили из рук камни, которые они притащили для соревнующихся, потому что окликнувший их был не кто иной, как сам настоятель. Все мальчики поспешили к нему, чтобы поцеловать ему руку или рукав, и старый монах молча и ласково принимал эти

знаки почтения, глядя на учеников своими черными глазами.

Серьезен в занятиях, весел в играх – таков был его девиз. Спустившийся вместе с ним в училищный сад граф Фролинген имел, напротив, вид человека, избравшего себе девиз: «Никогда не серьезен, всегда весел».

Граф отнюдь не помолодел с тех пор, как мать Ульриха бежала из городка, но глаза его смотрели весело, а красный цвет лица свидетельствовал, что он любил вино не менее женщин. Фролинген был одет в красивый наряд из белого и темно-синего атласа, воротник и рукава которого были обшиты тонкими кружевами, а шляпа его была украшена белым и желтым пером. Сын его, как две капли воды похожий на красавца-отца, стоял возле него, и граф фамильярно положил ему руку на плечо, как будто это был не его отпрыск, а добрый товарищ.

– Молодцы! – шепнул граф настоятелю. – Видели вы, как бросал камни вот тот белокурый? Из какого дома этот молодчик?

Настоятель пожал плечами и ответил, улыбаясь:

– Из кузницы на «лобном месте».

– Так это сын Адама? – воскликнул граф. – Черт побери, из-за его матери меня в то время знатно пробрали в исповедальне. Волосы и глаза у него красавицы Флоретты, во всем остальном он похож на отца. Я, господин настоятель, с вашего разрешения подзову его.

– Потом, потом, – ответил монах ласковым, но твердым голосом. – Прежде сообщите ребятам о том, что мы решили.

Граф почтительно поклонился и крепче прижал к себе своего сына, между тем как настоятель рукой поманил к себе учеников. Как только они все собрались, граф сказал:

– Вы только что простились с этим сорванцом. Что бы вы сказали, если бы я оставил его у вас до Рождества. Господин настоятель желает оставить его до тех пор, а вы, вы...

Но мальчики не дали ему закончить фразы, громко воскликнув:

– Пусть Филипп остается! Пусть остается граф Липс! Маленький белокурый мальчик прижался к молодому графу, другой целовал руку графа-отца, а два мальчика постарше взяли Филиппа под руки и старались оттащить его от отца в свой кружок. Настоятель ласково смотрел на эту сцену, а граф-отец даже прослезился, видя любовь товарищей к его сыну. Немного оправившись, он воскликнул:

– Липс остается, шельмецы, он остается, и господин настоятель позволил вам всем отправиться сегодня в охотничий замок и зажечь Иванов костер, а в печенье и вине не будет недостатка.

– Ура! Ура! Да здравствует граф! – закричали ученики, и шапки полетели в воздух. Ульрих поддался всеобщему увлечению и разом забыл все нарекания своего отца на этого красивого, веселого господина и все проклятия «висельника Маркса» против рыцарей и дворян.

Настоятель и его спутник удалились, а молодой граф Филипп воскликнул, как только все почувствовали себя свободными от надзора:

– Эй ты, новичок, ты перебросил камень через крышу! Каков молодец! Через крышу! Ну так вот что: кто разобьет первое окошко в башне, тот победитель.

Ульрих смутился и колебался совершить эту шалость, потому что боялся настоятеля и отца своего; но когда молодой граф протянул к нему сжатые в кулаки руки, сказав: «Тот, кому достанется красный кремешек, бросает первый», – он решительно указал на правую руку своего товарища, и так как в ней оказался красный кремень, то он схватил камень, швырнул им в окно и метко попал в него; при громких радостных возгласах мальчиков несколько пестрых стекол в окне оказались разбитыми, и осколки их, звеня, полетели на свинцовую крышу, а оттуда скатились на траву. Граф Липс громко рассмеялся и только собрался последовать примеру Ульриха, как распахнулась деревянная калитка и среди играющих показался патер Иероним, самый строгий из всех монахов. Щеки его покраснелись от гнева, уста произносили угрозы, и он, гневно озирая играющих, объявил, что предполагаемый праздник у графа не состоится, если не назовет себя сорванец, святотатственно разбивший церковное окно. Тогда выступил вперед молодой граф и смело сказал:

– Я это сделал, господин патер... нечаянно... простите.

– Ты? – спросил монах и прибавил более мягким и тихим

голосом: – Все только шалости, глупости. Когда же ты наконец поумнеешь, граф Филипп? Но так как ты это сделал нечаянно, то я тебя на этот раз прощаю.

С этими словами патер ушел и, как только за ним затворилась калитка, Ульрих подошел к великодушному товарищу и сказал так тихо, что только тот мог его слышать, но вместе с тем с выражением глубокой благодарности: «Я когда-нибудь отплачу тебе за это».

– Это все пустяки, – засмеялся молодой граф и положил руку на плечо ремесленника, – если бы стекло не задрезало, я бы тоже бросил камень. Но успеем и завтра.

VII

Наступила осень. Дорожки монастырского сада покрылись желтыми листьями, на церковной крыше собирались скворцы, чтобы лететь в теплые страны, и Ульрих охотно полетел бы, если бы мог, вместе с ними, куда бы то ни было. Он никак не мог свыкнуться ни с монастырем, ни со своими товарищами. Там, дома, на «лобном месте», он привык быть первым, а здесь это ему не удавалось, в особенности в школе, потому что отец не позволял доктору учить его латинскому языку, и он по этому предмету был последним учеником. Часто бедняга сидел поздно вечером, когда уже все спали, под лампой в передней, и долбил, и долбил, но все это не помогало, и он не поспевал за другими; а неприятное сознание, что все его старания тщетны, отравляло его существование и делало его раздражительным. К этому присоединились еще насмешки товарищей, прозвавших его конюхом за то, что он помогал патеру Бенедикту на конюшне. Это прозвище бесило его, и он не раз поколачивал зубоскалов.

В особенно дурных отношениях был он с черномазым Ксаверием, придумавшим это обидное прозвище. Отец этого мальчика был бургомистром соседнего городка, и ему разрешено было взять своего сына в отпуск на Михайлов день. Когда он возвратился в школу, то стал рассказывать разные разности о родителях Ульриха, хотя он знал о них только пона-

слышке и многое перепутал. Ульриху пришлось выслушать от товарищей многое, что заставляло его краснеть, но чему он не решался противоречить, потому что это вполне могло оказаться и правдой. Он очень хорошо знал, кто пустил все эти слухи, и стал относиться к Ксаверию с открытой враждой.

Граф Филипп не обращал ни малейшего внимания на все эти рассказы; он остался лучшим товарищем Ульриха и охотно помогал ему в уходе за лошадьми. Он также жадно слушал его рассказы о Руфи и часто уединялся вместе с Ульрихом, когда другие занимались играми; но именно этого-то и не могли простить новичку остальные ученики, которые завидовали дружбе его с Филиппом. Ксаверий никогда не любил графского сына, и ему удалось восстановить многих против бывшего их любимца за то, что тот будто бы задирает нос перед ними, а еще более против Ульриха, который скорее конюх, чем ученик, а между тем позволяет себе обращаться с ними свысока.

От внимания монахов, заведовавших школой, не ускользнули враждебные отношения, установившиеся между новым учеником и его товарищами, и они стали задумчиво покачивать головами. Патер Бенедикт не умолчал перед ними о том, кто был прежде учителем Ульриха, и благочестивым монахам казалось, что брошенное евреем семя приносит весьма вредные плоды. В особенности выходил из себя патер Иероним, обучавший мальчиков Закону Божию, когда ему

приходилось касаться зловердных идей, бродивших в голове нового ученика. Так однажды, вскоре по поступлении Ульриха в школу, он рассказывал в классе о смерти Спасителя и при этом обратился к мальчику с вопросом: «От чего освободят мир страдания и смерть Спасителя?» – на что тот ему ответил: «От притеснений богачей и знатных». В другой раз, когда речь шла о Святых Таинствах, Иероним спросил: «Чем христианин может достигнуть спасения?» – и Ульрих ответил: «Тем, что он не делает другому того, что было бы больно ему самому».

И подобные ответы дюжинами выходили из уст сына кузнеца. В одних из них он повторял слова «висельника Маркса», в других – доктора; а когда его спрашивали, от кого он это слышал, он всегда называл только последнего, так как не хотел, чтобы монахи знали о сношениях его с браконьером. Случалось, что за такие речи, которые он считал вполне справедливыми, Ульриха бранили и наказывали, и молодой ум его становился в тупик; тогда он обращался с горячей молитвой к Богородице, и странно, когда он глядел на образ ее, привезенный патером Лукой из Италии, ему постоянно вспоминалась его мать.

Настоятель монастыря, несмотря на все жалобы на Ульриха, продолжал считать его дурно воспитанным, но добрым, многообещающим ребенком, и в этом мнении его поддерживали живописец Лука, считавший Ульриха лучшим своим учеником, и учитель музыки; но и они возмущались тем,

что еврей сбил этого богато одаренного от природы подростка с пути истины, и настаивали на том, чтобы настоятель, человек очень мягкий и терпимый, велел подвергнуть еврея допросу.

Наконец в ноябре бургомистр был приглашен в монастырь, и ему сообщили о лжеучениях, которыми еврей отравил душу христианского подростка. Мудрый настоятель желал избежать в эту эпоху борьбы против католической церкви всего, что могло бы разжечь страсти; но бургомистр объявил, что в виду всего слышанного он обязан принять строгие меры против доктора.

– Конечно, – прибавил он, – прежде нужно собрать достаточные доказательства против обвиняемого!

Он поручил патеру Иерониму записать богохульные фразы, которые Ульрих произнес при свидетелях, а затем перед рождественскими праздниками кузнец и его сын будут подвергнуты допросу. Настоятель, которому его научные занятия были дороже всего, был очень рад тому, что это дело передали в руки светских властей, и поручил патеру Иерониму быть бдительным.

За три недели до Рождества бургомистр опять прибыл в монастырь и пожелал видеть своего сына. Он нашел его лежащим с подвязанным глазом в холодной спальне, и на его расспросы Ксаверий объявил, что его побил Ульрих. Эта жалоба окончательно вывела из себя бургомистра, и он не удовольствовался тем, что ему объявили, что Ульриху запреще-

но несколько недель играть с товарищами и что его лишили блюда за обедом и ужином. В сильном гневе он отправился к настоятелю. Оказалось, что накануне, в субботу, Ульрих после обеда отправился в сад один, без молодого графа, которого за какую-то шалость посадили в карцер. Там на него напали Ксаверий с дюжиной товарищей и сунули его головой в кучу снега, так что он едва не задохся. Заговорщики насовали ему за пазуху и за воротник комья снега и куски льда, сняли с него башмаки и набили их снегом, а Ксаверий вскочил к нему на спину и так долго держал его голову в снегу, что он с трудом мог дышать и уже думал, что наступил его последний час. Напрягши все свои силы, он сумел сбросить с себя своих мучителей и крепко ухватить Ксаверия. Так как все остальные разбежались, он стал срывать свою злобу на сыне городничего, сначала кулаками, а затем тяжелыми башмаками, поднятыми им с земли. Другие мальчишки издали забрасывали его комьями снега, и это еще более усиливало его ярость. Когда Ксаверий не мог уже шевелиться, Ульрих вскочил с покрасневшими щеками и с поднятыми кулаками и воскликнул:

– Ну, только подождите, негодяи! Доктор Коста знает такое слово, с помощью которого он вас всех обратит в жаб и крыс.

Ксаверий запомнил эти слова и передал их своему отцу, присовокупив кое-что еще от себя. Настоятель спокойно выслушал жалобу бургомистра, справедливо рассудив, что раз-

драженный отец не может считаться объективным свидетелем. Однако он все же счел нужным позвать Ульриха и допросить его. Оказалось, что еврей действительно говорил своей дочери о каком-то волшебном слове и что Ульрих угрозил им своим товарищам. Решено было произвести дознание. Ульриха снова отправили в карцер, где его уже ждали ломоть хлеба и жидкий суп; но он к ним не прикоснулся. Еда не шла ему на ум; он не мог ни работать, ни сидеть на месте.

Вдруг ближе к вечеру раздался звук колокола, созывавший всех обитателей монастыря, и тотчас же после того под самым окном карцера зазвенели бубенцы, Ульрих осторожно выглянул и увидел, что настоятель и патер Иероним разговаривают с бургомистром, собиравшимся сесть в свои сани. Они говорили о докторе, и он узнал, что недавно собраны были все ученики для допроса. Он до того испугался за доктора, что на его лбу выступил холодный пот. Тут он понял, что смешал в одно слова доктора с угрозами браконьера и эти последние приписал отцу Руфи.

Он оказался изменником, лжецом, жалким негодяем. Ульрих хотел бежать к настоятелю и во всем сознаться ему, но у него не хватило на то духу. Так прошло время до всеобщей молитвы. В церкви он пытался молиться, не за себя, а за доктора, но это ему не удавалось, так как он не мог думать ни о чем ином, как о предстоящем судилище. Стоя на коленях и закрыв лицо руками, он мысленно видел еврея в цепях,

а себя самого в ратуше на допросе.

Наконец всенощная кончилась. Ульрих встал и увидел прямо перед собою большое распятие и лик Спасителя, который в прежние времена, со склоненной набок головой, взирал на него так мягко и кротко, сегодня, казалось ему, смотрел печально и укоризненно.

В дортуаре⁸ товарищи сторонились от него, как от зачумленного, но он едва замечал это. Сквозь маленькие окна ярко светила луна и падал отблеск снега, но ему хотелось быть в темноте, и он зарылся головой в подушку.

Вот пробило десять часов. Его сердце билось все сильнее и боязливее, но вдруг ему показалось, что оно перестало биться: тихий голос назвал его по имени. «Ульрих» – раздавалось еще раз, и молодой граф, спавший подле него, приподнялся на постели и наклонился к нему. Ульрих рассказал ему о пресловутом «слове», и они, как некогда с Руфью, много и долго рассуждали о том, чего каждый из них пожелал бы себе с помощью этого слова. Теперь Филипп шепнул ему:

– Они собираются что-то сделать с доктором. Бургомистр и настоятель так строго допрашивали нас, как будто вопрос шел о жизни и смерти. Я благоразумно умолчал обо всем, что знал про это слово, но негодяй Ксаверий повернул дело так, будто ты знаешь это волшебное слово; а вечером он подошел ко мне и сообщил по секрету, что отец его завтра утром велит схватить еврея и затем подвергнуть его пытке.

⁸ Дортуар (фр. dortoir) – общая спальня.

Теперь вопрос идет только о том, сжечь ли его или повесить; но во всяком случае отец Ксаверия сказал, что так или иначе доктор будет казнен, и этот черномазый негодяй ужасно этому рад.

– Эй, вы! Тише там! – раздался заспанный голос дежурного монаха, и оба собеседника мигом юркнули под одеяла и не шевелились.

Молодой граф вскоре заснул, но Ульрих, понятно, не мог спать. Он зарылся головой в подушки, и ему казалось, будто он видит перед собою умное кроткое лицо доктора, всегда относившегося к нему с такою любовью, и будто оно смотрит на него с выражением упрека; а затем ему представлялась немая мать Руфи, по-прежнему ласково гладившая его по волосам и по щеке; Руфь также явилась ему, но на ней было не желтое шелковое платье, а какие-то нищенские лохмотья, и она плакала, скрывая лицо в коленях матери.

Ульрих глубоко вздохнул. Часы пробили одиннадцать. Он приподнялся и стал прислушиваться: все спало. Он потихоньку оделся, взял башмаки в руку и попробовал отворить окно в головах его кровати. Днем оно было отворено, но вследствие мороза теперь не отворялось. Ульрих уперся ногой в стену и стал изо всех сил тянуть раму к себе; наконец она поддалась, и окно распахнулось с треском и звоном разбитых стекол. К счастью, дежурный спал так крепко, что только во сне стал бранить шалунов-мальчишек.

Затаив дыхание, Ульрих несколько мгновений стоял

недвижимо; затем он вскочил на подоконник и выглянул из окошка. Дортуар был на втором этаже, и окна его выходили не во двор, а в поле. К счастью, подле стены намело высокий сугроб, и это придало Ульриху бодрости. Он перекрестился, прошептал: «Господи, помилуй», – зажмурил глаза и прыгнул. У него шумело в ушах, образ еврея слился в его уме с образом его матери, и затем он как будто окунулся в ледяное море, и ему казалось, что и тело, и душа его разом очутились. Но через несколько мгновений он пришел в себя, выбрался из сугроба, надел башмаки и побежал, точно за ним гналась стая волков, вниз с горы, через ущелье и вдоль реки к городу и к «лобному месту».

VIII

Бургомистр на своих лошадях не скорее добрался до города, чем Ульрих пешком. Когда Адам, разбуженный стуком, узнал голос сына, он тотчас же понял, в чем дело. Он молча слушал его рассказ, вынимая в то же время торопливо, но обдуманно, спрятанное в подполье добро, набивая мешок всем необходимым, затыкая за пояс самый тяжелый молот и заливая огонь в горне. Затем он запер дверь своего дома и послал Ульриха к «висельнику Марксу», с которым он заранее кое о чем условился, так как еще накануне к нему приходил фокусник Каспар, знавший через своих дочерей больше, чем всякий другой, и сообщивший ему, что против Косты что-то затевается.

Адам застал доктора еще не спящим, а сидящим за работой. Он ожидал того, что ему сообщили, и тотчас же согласился, что необходимо бежать. Ни словом жалобы, ни беспокойным движением он не высказал того, что происходило в его душе. Адам едва не расплакался, когда доктор стал будить жену и дочь. Но боязливые стоны испуганной немой женщины и громкий плач ребенка вскоре заглушены были воплями старой Рахили, которая влетела в комнату еще более закутанная, чем когда-либо, и стала хватать все, что попадало ей под руку, проклиная кого-то и что-то на непонятном языке. Она притащила большой сундук и стала свали-

вать туда в кучу и нужное, и ненужное: и подсвечники, и посуду, и шахматы, и даже куклу Руфи с разломанной головой.

В начале третьего часа ночи доктор был готов к отъезду. Перед дверьми стояли сани Маркса, запряженные его лошадкой. Это было во всех отношениях замечательное животное: ростом не более теленка, худощавая, как коза, местами мохнатая, местами совсем безволосая.

Адам помог усадить в сани немую, доктор посадил к ней на колени Руфь, Ульрих отвечал на любопытные расспросы девочки, что она все узнает позже, а старуха ни за что не хотела расстаться со своим сундуком, и ее лишь с трудом удалось усадить в сани.

– Знаешь туда, за гору, в долину Рейна, все равно куда, – шепнул доктор браконьеру.

Маркс стал понукать свою лошаденку и сказал, обращаясь не к Косте, а к кузнецу, который, по его мнению, должен был лучше понять его, чем книжник-доктор:

– Следует сделать крюк. Нельзя ехать прямо в ущелье. Гончие графа выследят нас, если их спустят со своры. Мы сначала выедем на большую дорогу и свернем у Лаутенского кабака. Завтра базарный день; окрестные жители рано утром отправятся из деревень в город, и собакам ни за что не взять нашего следа. Кабы только пошел снег!

Когда они поравнялись с кузницей, доктор протянул кузнецу руку и сказал:

– Прощайте, мой друг!

– Мы пойдем с вами, если вы ничего против того не имеете, – ответил Адам.

– Подумайте... – начал было доктор, но кузнец прервал его словами:

– Я уже все обдумал. Чему быть, того не миновать. Ульрих, возьми-ка у доктора с плеч мешок.

Долгое время все шли молча. Ночь выдалась морозная и светлая. Мужчины бесшумно ступали по мягкому снегу, и не было слышно ничего, кроме скрипа полозьев, да временами раздавалось всхлипывание немой или громкое слово, вылетавшее из уст говорившей с собой старухи. Руфь уснула на коленях матери и дышала глубоко.

У Лаутенского кабака узкая дорога сворачивала в лес и вела в горы. Когда подъем стал круче, а снег доходил уже до колен, мужчины стали помогать лошаденке тащить сани. Бедное животное отчаянно мотало головой и сильно кашляло. Маркс указал на него головой и сказал: «Ведь ей уже двадцать лет, и к тому же она опоена». Лошадка кивала головой, как бы желая сказать: «Да, тяжело жить на свете. Должно быть, это моя последняя поездка».

Согнувшиеся под тяжестью снега ветви сосен низко свешивались над головой; в просветах меж ними виднелось тяжелое, свинцовое небо; обломки скал, лежавшие близ дороги, были одеты точно в белые саваны; ручей замерз с краев и только в середине его холодная вода бежала к долине среди ледяной оправы. Пока светила луна, снег и лед своим

блеском помогали путникам находить дорогу; но когда она зашла, путники ничего не видели, кроме монотонной белизны снега. «Ах, только бы пошел снег», – повторял углежог.

Чем выше они поднимались, тем глубже становился снег и тем затруднительнее было для путников ступать по нему. По временам кузнец, видя усталость доктора, негромко проносил «стой», и тогда Коста подходил к саням и спрашивал: «Ну, что, как можется?» – или же успокаивал сидящих в них словами: «Ничего, доберемся». Когда в лесу раздавался лай лисиц или завывание волка, или когда сова поднималась с верхушки сосны и осыпала путников снегом, старуха вскрикивала, да и другие вздрагивали; один только Маркс продолжал шагать спокойно и невозмутимо возле массивной головы своей лошаденки, потому что ему были хорошо известны все эти лесные звуки.

К утру мороз усилился. Руфь проснулась и стала плакать, а ее отец спросил, едва переводя дух: «Скоро ли привал?»

– А вот сейчас за пригорком, не далее десяти полетов стрелы, – ответил Маркс.

– Станьте на сани, доктор, – сказал кузнец, – а мы будем подталкивать их.

Но Коста отрицательно качнул головой, указал на усталую лошаденку и продолжал плестись пешком.

Браконьер, очевидно, пускал свои стрелы из какого-то особого лука, потому что прошло уже более получаса, а вершины пригорка все еще не было видно. Между тем света-

ло, и угольщик с беспокойством стал то поднимать голову кверху, то поворачивал ее по сторонам. Небо было облачно, сверху струился тусклый свет, и в воздухе стояла мгла. Снег по-прежнему слепил, но он уже не блестел и не переливался, а лежал и спереди, и сзади, и кругом матово-белой пеленой.

Ульрих шел возле саней и помогал тащить их. Руфь, слыша, как он тяжело дышит, гладила своей ручкой его руку, лежавшую на кузове саней, и это как будто облегчало его, и он улыбался девочке.

Когда они, наконец, взобрались на гребень горы и снова остановились, Ульрих заметил, что углежог, как гончая, повел носом, нюхая воздух; он спросил его:

– Что такое, Маркс?

Браконьер осклабился и ответил:

– Сейчас пойдет снег. Я чую его в воздухе. – Они стали спускаться, и угольщик добавил: «Там, внизу, мы найдем у Герга приют и хороший огонь. Слышите, сударыни?»

Эти слова всех приободрили. Действительно, пора было добраться до привала, потому что большие снежные хлопья стали кружиться в воздухе, и поднявшийся в то же время ветер нес их прямо в лицо путникам.

– Вот она! – воскликнул Ульрих и указал пальцем на занесенную снегом избушку, стоявшую прямо перед ними на полянке, у опушки леса.

Все лица оживились, только, Маркс задумчиво качал головой и бормотал сквозь зубы:

– Ни дыму, ни собачьего лая! Изба пуста. Герг, видно, ушел. А в Троицын день, когда ребята уже отправились сплавливать лес, он был еще здесь.

Однако углежог, очевидно, ошибался в счете времени, потому что весь наружный вид избышки, провалившаяся крыша, сквозь которую намело изрядно снегу, и совершенно сгнившие оконные рамы ясно доказывали, что жилище это уже не первую зиму стоит необитаемым.

Рахиль снова запричитала при виде этого обещанного ей места отдохновения. Но когда мужчины сгребли с пола снег и навалили еловых сучьев на отверстия в крыше, и когда Адам развел огонь в печке и устроил для женщин сиденья с помощью принесенных из саней подушек и полости, она немного успокоилась и сама, без чьего-либо приказанья, поплелась к очагу и поставила на огонь горшок, наполненный снегом.

Маркс объявил, что лошадке нужно часа два отдыха; затем можно будет пуститься в дальнейший путь и до наступления сумерек добраться до мельницы в ущелье. Там их ожидает радушный прием, так как мельник Якоб вместе с ним сражался в рядах бунтовавших крестьян.

Вода от растаявшего снега кипела в горшке на очаге, доктор и жена его дремали, Ульрих и Руфь держали дрова, которые наколот кузнец, над огнем, чтобы просушить их, как вдруг на дворе возле избы раздался раздирающий душу вопль. Коста быстро направился к двери, дети последовали

за ним, а старуха, плача, закрыла лицо платком.

Возле саней на снегу лежала лошадка Никель, вытянув вздрагивающие ноги. Перед ней стоял на коленях Маркс, приподняв голову бедного животного и кривым ртом своим дул ей в ноздри. Но лошадка оскалила желтые зубы, высунула синеватый язык, как бы желая лизнуть его, и затем голова ее свесилась, глаза выпучились, ноги перестали вздрагивать, и дыхание Никель прервалось; распряженные сани поднимали оглобли кверху, подобно клюву голодного, покинутого птенчика.

Итак, выбраться отсюда не было возможности. Женщины, дрожа, сидели в жалкой избушке, и их пробирало холодом; Руфь горько плакала о бедной лошадке, а Маркс в каком-то отупении сидел подле коченеющего трупа своего четвероногого друга; он ни о чем не думал, и менее всего о снеге, делавшем его белее мельника, у которого он надеялся переночевать в этот день. Доктор глядел в отчаянии на свою немую жену, которая как-то съежилась и, сложив руки, с жаром молилась; кузнец схватился рукой за лоб и думал о том, что теперь делать, но ничего не мог придумать, хотя от напряженных размышлений у него разболелась голова; издали доносился вой голодного волка, а пара черных воронов уселась на покрытый снегом сук и жадно смотрела на лежавший в снегу труп лошади.

Тем временем настоятель сидел в своем хорошо натоплен-

ном рабочем кабинете, наполненном ароматным дымом табака, и смотрел то на ярко пылавшие в мраморном камине дрова, то на бургомистра, который привез ему странную весть. Белый шерстяной халат обрисовывал стройную фигуру патера. Подле него на столе лежали две рукописи любимой его книги идиллий Феокрита⁹, сравнением текста которых он только что занимался. В свободное от своих занятий по монастырю время он переводил их латинскими стихами, находя существовавший уже перевод Эобана Хесса¹⁰ крайне неудовлетворительным.

У камина стоял бургомистр. Это был человек среднего роста, приземистый, с большой головой и грубым, точно вырубленным топором, но выразительным лицом. Он считался одним из умнейших людей в округе и говорил плавно и складно. В углу комнаты стоял его секретарь, человек с лысой головой и искривленными, наподобие серпа, ногами. Он держал под мышкой толстый портфель с бумагами и, казалось, глазами ловил малейшие жесты своего начальника.

– Так, значит, он родом из Португалии и проживал здесь

⁹ Феокрит – эллинистический поэт первой половины III века до н. э.; основоположник жанра идиллии, в которой воспевались простота и естественность невзыскательного быта на лоне природы. Сохранились 30 идиллий Феокрита, послуживших основой для появления в дальнейшем буколической (от греч. bukolikos – пастушеский) поэзии.

¹⁰ Хесс Хелий Эобан (1488–1540) – немецкий гуманист, один из представителей поэзии на латинском языке. Кроме идиллий Феокрита перевел на латынь «Илиаду» Гомера и псалмы.

под чужим именем, – так резюмировал настоятель все слышанное.

– Его фамилия Лопец, а не Коста, – ответил его собеседник, – как видно из этих бумаг. Подай-ка их сюда, Гутбуб. Вон там, в коричневой обложке.

Бургомистр передал настоятелю пергамент; тот, пробежав его, сказал:

– Этот еврей – более замечательная личность, чем мы думали. Я знаю, члены Коимбрского университета не особенно расточительны на такие похвалы. Хорошенько берегите книги доктора, господин Конрад. Завтра я их рассмотрю.

– Они к вашим услугам. Эти бумаги...

– Их не нужно.

– И без них достаточно улики, – кивнул бургомистр. – Мой помощник, человек, как вам известно, не ученый, но опытный, вполне разделяет мое мнение. – Затем он продолжал патетически: – Только тот, кто имеет основание опасаться закона, меняет свое имя, и тот, кто чувствует себя виноватым, скрывается от суда.

Тонкая улыбка, не чуждая горечи, появилась на устах настоятеля, потому что ему пришли на ум допрос и камера пыток в ратуше, а теперь он видел в докторе уже не еврея, а гуманиста и ученого. Его взгляд опять упал на диплом; и в то время как его собеседник продолжал свои объяснения, он вытянулся в кресле и задумчиво смотрел в пол. Затем он слегка прикоснулся концами пальцев к своему высокому лбу

и сказал, довольно невежливо прервав расходившегося говоруна:

– Патер Ансельм прибыл к нам пять лет тому назад из Опорто¹¹; он знал там всех ученых. Гутбуб, ступай и позови ко мне нашего библиотекаря.

Вскоре явился библиотекарь. Известие о бегстве Ульриха и об исчезновении еврея быстро распространилось по монастырю. Все сообщали друг другу эту новость – и на хорах, и в школе, и в кухне, и на конюшне. Один только патер Ансельм ничего не слышал об этом, несмотря на то, что с раннего утра занимался в библиотеке и там, в его присутствии, немало толковали об этом необыкновенном происшествии.

Достаточно было бросить беглый взгляд на старика-библиотекаря, чтобы убедиться, что он не интересуется на свете ничем, кроме своих рукописей и книг. Его длинная узкая голова была посажена на тонкую шею, которая наполовину скрывалась между приподнятых плеч. Его пепельно-серого цвета лицо было изрыто оспой и избороздено морщинами, но большие умные глаза придавали этому некрасивому лицу приятное и тонкое выражение.

Сначала он безучастно слушал рассказ настоятеля; но когда тот назвал имя еврея, и он кинул на диплом такой беглый взгляд, как будто обладал даром схватывать содержание десяти строк одним взором, то с живостью воскликнул:

– Как, здесь был Лопец, знаменитый доктор Лопец! И мы

¹¹ Опорто (ныне Порту) – город и порт в Португалии.

этого не знали и не обратились к его совету! Где он? Что с ним хотят делать?

Когда он узнал, что еврей бежал, и настоятель попросил ему сообщить все, что ему известно об этом человеке, библиотекарь начал печальным голосом:

– Да, конечно, человек этот великий грешник перед Господом. Вам, без сомнения, известна его вина?

– Мы все знаем, – поспешил вставить свое слово бургомистр, многозначительно взглянув на настоятеля; и продолжал, как бы искренне сожалея о виновном, с притворным состраданием: – И каким же это образом такой ученый человек мог совершить столь тяжкое преступление?

Настоятелю было противно лукавство чиновника, но Ансельм уже проболтался, и так как ему самому хотелось узнать подробности из жизни доктора, то он предложил библиотекарю сообщить все, что ему известно о докторе Лопеце. И библиотекарь со свойственным ему сухим, деловым тоном, но с некоторой душевной теплотой, которой настоятель даже и не подозревал в нем, начал перечислять ученые заслуги доктора и выдающиеся свойства его ума. Он сообщил, что отец доктора был хотя и еврей, но в некотором роде знатный человек, соединенный тесными узами со многими благородными семействами, так как воцарение короля Эммануила¹², который стал преследовать евреев; они пользовались

¹² Эммануил Великий (1469–1521) – король Португалии с 1495 года; изгнал из своих владений всех мавров и евреев, отказавшихся принять христианскую

в Португалии большим почетом, и в стране не делалось никакого различия между евреями и христианами. При первом изгнании их из Португалии некоторым привилегированным евреям было дозволено остаться в стране, в том числе и Родриго Косте, отцу Лопеца, бывшему лейб-медиком короля и пользовавшемуся большим его уважением. Сам Лопец с отличием окончил курс в Коимбрском университете, но посвятил себя не медицине, как его отец, а философии и филологии.

– При этом, – продолжал патер Ансельм своим медленным, размеренным тоном, повторяя конец каждой фразы, как будто он сличал две рукописи, – при этом он не имел в виду добывание средств к жизни, потому что отец его оставил ему значительное состояние. У Лопеца было много друзей, очень много, так как все друзья науки были и его друзьями. И среди христиан он имел немало приятелей. В нашей среде – я разумею книжный мир – он также пользовался большим уважением. Я сам ему многим обязан; он мне неоднократно помогал при отыскании редких книг и истолковании темных мест. Я не любопытен – или, быть может, вы думаете, что я любопытен? Нет, я не любопытен, но все же мне захотелось кое-что узнать о нем. И вот я стал расспрашивать и узнал про него дурные, да, очень дурные вести. Во всем виновата женщина, – ну, конечно, женщина! В Опорто жил купец из Фландрии, христианин. Отец доктора Лопеца был

очень дружен с ним. Впрочем, вам все это, вероятно, хорошо известно?

– Да, конечно, известно! – воскликнул бургомистр. – Но все равно, рассказывайте дальше!

– Итак, старый доктор Родриго был домашним врачом в семействе нидерландца и присутствовал при смерти старого купца. Последний оставил после себя ребенка, девушку. У нее не было в Опорто никого из родных. Они – то есть молодые доктора и магистры, видевшие ее, – говорили, что она красива, очень красива. Но доктор Родриго принял участие в судьбе девушки не из-за ее красоты, а потому что Елизавета была сирота и одинока.

– И воспитал ее еврейкой? – прервал его бургомистр, бросая на него пытливый взгляд.

– Еврейкой?! – воскликнул патер в волнении. – Кто это говорит? Ничуть. Вдова-христианка воспитала ее в загородном доме доктора, в загородном доме, а не в городском. Там молодой доктор, вернувшись из Коимбры, не раз видел ее, не раз, даже чаще, чем следовало бы! Дьявол вмешался в дело – и они слюбились. Я даже знаю, как сыграна была их свадьба: в присутствии трех свидетелей, одного еврея и двух христиан, молодые поклялись друг другу в вечной верности и обменялись кольцами, такими же кольцами, как при христианской свадьбе. При этом Лопец остался евреем, а Елизавета христианкой. Он собирался перебраться с нею в Нидерланды, но один из свидетелей донес на них священной

инквизиции. Та, понятно, тотчас де вмешалась в это дело – ведь там она вмешивается буквально во все, а в данном случае вмешательство было даже необходимо, его даже требовал христианский долг. Молодую женщину схватили на улице, заключили в тюрьму, а во время пытки она лишилась речи, почти совершенно лишилась. Старика доктора и его сына предупредили вовремя, и они успели скрыться. Камергеру де Са, ее дяде – или он приходился ей двоюродным братом? – удалось вызволить Елизавету из тюрьмы, и затем, мне кажется, затем они все трое бежали во Францию – отец, сын и жена последнего. Но нет же, говорят, что они проживают здесь.

– Ну, что я вам говорил? – торжествующе провозгласил бургомистр, бросив на настоятеля многозначительный взгляд. – Такой старый воробей, как я, чует преступление, как лягушка дождь! Вот теперь я могу сказать, что мы имеем против доктора Косты достаточно улики и что он подлежит высшей мере наказания. Мы на нем покажем пример, мы дадим себя знать. Благодарю вас, отец Ансельм, вы сообщили мне нечто весьма важное.

– Так вы ничего не знали? – заикаясь, проговорил бедный библиотекарь, и шея его вытянулась, и жила на лбу его налилась кровью.

– Нет, не знали, Ансельм, – сказал настоятель. – Но вы обязаны были говорить, точно так же, как я обязан был выслушать вас. Из соборной приходите ко мне, мне нужно поговорить с вами.

Библиотекарь молча и гордо поклонился и пошел, не удостоив бургомистра ни единым взглядом, но не в библиотеку, а в свою келью. Там он долго ходил взад и вперед и бормотал имя Лопец, ударяя себя рукою по губам, и прижимал кулак ко лбу, и наконец опустился на колени перед распятием... чтобы молиться за еврея.

Как только монах вышел из комнаты, бургомистр удовлетворенно воскликнул:

– Какая неожиданная помощь! Какая масса улик! Начнем с самых незначительных. Он никогда не носил установленного для евреев знака и пользовался услугами христиан, потому что дочери Каспара не раз были приглашаемы в его дом для шитья. В его доме нашли шпагу, а еврей, который носит оружие, не нуждается в покровительстве властей, так как он прибегает к самообороне. Наконец, мы узнали, что Лопец проживал под чужим именем. Но это все мелочи; а вот существенное. Оно распадается на четыре пункта: он занимался наговорами посредством известных ему одному слов; он старался совратить христианского мальчика; он женился на христианке, и, что главное, он воспитал в еврейской вере девочку, родившуюся от христианки, то есть от жены.

– Он воспитал в еврейской вере свою дочь? Вы это наверно знаете? – спросил настоятель.

– Достаточно того, что девочка носит еврейское имя Руфь. То, на что я позволил себе указать, – все вполне доказанные преступления, за которые полагается смертная казнь.

Вы очень ученый человек, господин настоятель, но и я кое-чему учился. Еще император Констанций¹³ ввел смертную казнь за браки между евреями и христианами. Я могу указать вам это место.

Настоятель очень хорошо понимал, что обвинение, возводимое на еврея, действительно такого рода, что не могло быть и речи о пощаде, он сознавал, что следует принять строгие меры, но шел на них крайне неохотно, и его явно раздражало неуместное рвение собеседника, относившегося к почтенному ученому с каким-то злорадством. Поэтому он встал и сказал с явной холодностью:

– Исполняйте свой долг.

– На меня можете положиться, – радостно сказал бургомистр. – Завтра или, самое позднее, послезавтра мы Косту заключим в тюрьму, его и все его семейство! Мой секретарь надежный малый. Ребенка мы, конечно, не тронем, но его следует отнять у евреев и воспитать в христианской вере. Мы должны были бы сделать это даже в том случае, если бы и отец, и мать были евреями. Вам, конечно, известен фрейбургский случай. Сам великий Ульрих Цазиус решил, что дети евреев могут и должны быть крещены и без ведома и согласия их отца. Я прошу вас прислать в субботу патера Ансельма в ратушу в качестве свидетеля.

¹³ Вероятно, имеется в виду Флавий Юлий Констанций II (317–361) – римский император с 337 года, который в период своего правления активно вмешивался в деятельность церкви.

– Хорошо, хорошо, – сказал настоятель; но он выказывал при этом так мало искренности, что чиновник невольно удивился. – Согласен, – продолжал он, – арестуйте еврея, но только не убивайте. И еще одно: я желаю видеть доктора и поговорить с ним, прежде чем вы начнете пытаться его.

– Послезавтра я его доставлю к вам.

– Ах нюренбергцы, нюренбергцы! – пробормотал настоятель и пожал плечами.

– Что вы этим хотите сказать?

– Я хочу сказать этим, что эти умные люди никого не вешают, не схвативши его.

Бургомистр расценил эти слова как поощрение и пожелание выказать побольше усердия при поимке еврея и поэтому ответил самонадеянно:

– Он в наших руках, достопочтенный отец, он в наших руках! Если они и бежали, то завязнут в снегу, как в мышеловке. Я велел бабам разыскивать следы, я созвал ваших и наших лесников и попросил фролингенского графа преследовать их, беглецов. Он обязан оказать нам помощь. Уж он-то со своими охотниками, доезжачими и гончими наверняка выследит дичь. Благословите, святой отец, мне не резон терять времени.

Настоятель остался один. Он задумчиво стал смотреть в догоравший огонь камина и размышлять обо всем, что только что слышал. Ему представлялся скромный ученый муж, проведенный среди серьезных научных занятий дол-

гие годы, и при этом святым отцом невольно овладевало легкое чувство зависти, потому что ему самому редко удавалось предаваться спокойно своим любимым научным занятиям, в которых он находил полное удовлетворение. Он досадовал сам на себя за то, что не мог относиться со злобой к человеку, достойному смертной казни, и сам себя обвинял в излишней мягкости. Но затем ему приходило на ум, что еврея склонила к греху любовь и что тому, кто много любил, многое прощается. В то же время он радовался, что ему вскоре доведется познакомиться лично с ученым коимбрским доктором. Никогда еще только что ушедший от него чиновник не казался ему таким отвратительным, как сегодня. И когда настоятель вспомнил о том, как этот хитрый человек в его присутствии обвел бедного патера Ансельма вокруг пальца, ему показалось, что он сам совершил недостойный поступок. И все же, и все же – еврея невозможно было спасти, и он заслужил то, что ему угрожало.

Пришел монах, чтобы позвать настоятеля по делам монастыря, но он не пошел за ним, заявив, что придет через час. Он взял в руки тетрадь, которую называл своим «душевым зеркалом» и в которую заносил кое-что для исповеди, требовавшее, однако, еще размышления. Сегодня он занес в тетрадь следующее:

«По-настоящему было бы обязанностью всякого верующего христианина ненавидеть еврея и преступника и ревностно преследовать то, что осуждает святая церковь. Но я

еще не в состоянии этого делать. Кто такие бургомистр, па-тер Ансельм и этот ученый доктор? Первый из них – человек низменный, мелочный, с узким кругозором; остальные два – взысканные Господом, многосведущие, властители в обширном умственном царстве. И все же первый оказался хитрее последних, а они оказываются детьми по сравнению с ним. Какую жалкую роль сыграл перед ним Ансельм! И все же этот обманутый ребенок был велик, а тот умник – мелок. То, что люди называют умом, в сущности только житейская хитрость. Истинно великий человек простодушен, потому что не обращает внимания на мелочи, не считает, но поднимет взоры горе и причастен раскрывающейся перед ним бесконечности. Иисус Христос был кроток, как дитя, и любил детей; Он был Сын Божий и все же добровольно отдался в руки людей. Он не причислял себя к умникам и сказал: „Блаженны нищие духом“. Я понимаю эти слова. Нищий духом тот, чья душа гладка и чиста, как зеркало, и не имеет складок, и в этом смысле нищими духом можно назвать величайших мудрецов и великодушнейших людей, встречающихся в жизни и в истории. Умом обладает и животное, мудростью – только лучшие из людей. Мы все должны стремиться подражать Христу, и тот из нас более всего приблизится к Нему, кто соединяет в себе мудрость с простодушием».

IX

Маркс ушел на разведку несколько успокоенный и утешенный, так как доктор возместил ему стоимость его лошадки. Около полудня он вернулся с добрыми вестями. Лесник, которого он встретил на дороге, сообщил ему, где живет углежог Герг. Беглецы могли добраться до его хижины ранее наступления ночи, и вместе с тем они приближались к долине Рейна.

Все уже было готово к отъезду, только старуха Рахиль не желала двинуться с места. Она уселась на камне перед избушкой, так как едва не задохнулась от дыма внутри ее. Кажалось, что страх лишил ее рассудка. Она смотрела перед собой бессмысленно и, стуча зубами, пыталась делать из снега, который она, очевидно, принимала за муку, пироги и лапшу. Она не обращала внимания ни на окрики доктора, ни на жесты его жены, и когда первый схватил ее за руку, чтобы приподнять с места, она завопила благим матом. Наконец кузнецу удалось усадить ее в сани, и беглецы тронулась в путь. Адам тащил сани; Маркс шел возле них и по временам помогал ему. Немая ступала в глубоком снегу рядом со своим мужем. «Бедная женщина!» – как-то вырвалось у него; она крепче прижала к себе его руку и заглянула ему в глаза, как бы желая ему сказать: «Мне хорошо, лишь бы ты был подле меня».

Минутами она была счастлива, чувствуя его подле себя, но затем ею снова овладевала тревога, и ей казалось, что вот-вот сейчас налетит погоня, и с ними случится нечто ужасное. Когда снег с легким шумом спадал с ветвей елей, когда Лопец оборачивался или старуха Рахиль испускала стон, Лиза вздрагивала, и муж, замечавший эти вздрагивания, сам не мог не сознаться, что положение их крайне критическое. Каждую минуту они все могли попасть в плен, и если только обнаружится, кто он, кто Елизавета... Ульрих и Руфь замыкали шествие и мало разговаривали.

Сначала им опять приходилось подниматься в гору, но вскоре дорога пошла под гору. Снег давно уже перестал идти, и чем ниже они спускались, тем тоньше становился слой снега.

Таким образом они шли два часа. Наконец Руфи изменили силы; она остановилась и озиралась кругом влажными, молившими о помощи глазами. Углежог заметил это и проворчал:

- Поди ко мне на руки, девочка, я донесу тебя до саней.
- Нет, я! – живо перебил его Ульрих, и Руфь подтвердила:
- Да, да, неси меня ты.

Маркс обвил ее своими руками, приподнял с земли и передал на руки Ульриху. Она обвила своими ручонками его шею и крепко прижалась своей свежей, холодной щечкой к его щеке. Это доставляло ему большое удовольствие, и ему вспомнилось, как долго они были разлучены и как хорошо

быть вместе с нею. У него стало особенно весело на душе. Он чувствовал, что любит ее больше всех на свете, и крепче прижимал ее к себе, как будто уже протягивалась невидимая рука, чтобы отнять ее у него.

Тонкое, милое личико Руфи было сегодня не бледно, а покраснелось от долгой ходьбы и от свежего зимнего воздуха, и ей было приятно, что Ульрих так крепко прижимал ее к себе, и она, отняв холодную ручку от его шеи и поглаживая его по щеке, приговаривала:

– Ты добрый мальчик, Ульрих, и я тебя очень, очень люблю! И она произносила эти слова так тепло и нежно, что слезы едва не выступали на его глазах, потому что с тех пор как ушла куда-то далеко-далеко его мать, никто не говорил с ним таким голосом. Он чувствовал себя бодрым и сильным, и ему вовсе не тяжело было нести ее, и, когда она снова обвила его шею своими ручонками, он сказал ей:

– Я бы желал всегда так носить тебя.

Она лишь слегка кивнула, как бы в знак того, что и она разделяет это желание, а он продолжал:

– В монастыре у меня не было настоящего друга. Правда, Липс... но ведь он граф... А тебя все любят. Ты не знаешь, как тяжело чувствовать себя одиноким и быть со всеми на ножах. В монастыре мною не раз овладевало желание умереть. Но теперь я не хочу умирать, так как мы останемся вместе – это мне отец сказал, – и все пойдет по-старому, и я не хочу больше учиться латыни; я сделаюсь живопис-

цем или, пожалуй, хоть кузнецом, или, по-моему, кем угодно, лишь бы не расставаться с вами. – При этих словах он почувствовал, как Руфь приподняла с плеча свою головку и поцеловала его в лоб над самым глазом, и он немного опустил руку, в которой ее держал, и поцеловал ее в самый рот, со словами:

– Теперь мне кажется, будто к нам возвратилась моя матушка.

– Неужели тебе это кажется? – спросила она с блестящими глазами. – Ну, теперь пусти меня. Я отдохнула и могу идти сама.

С этими словами она соскользнула на землю, и он ее не удерживал. Она продолжала идти рядом с ним, и ему пришлось рассказывать ей о зловредных мальчишках в монастыре и о графе Липсе, и о монахах, и об иконах, и о своем бегстве. Тем временем стемнело, и они достигли цели своего путешествия.

Углежог Герг принял их и отворил им свою избу, но сам удалился, потому что он не прочь был дать странникам убежище назло начальству; но ему не хотелось присутствовать при поимке беглецов. «Поймают вместе с ними, так вместе же с ними и повесят», – благоразумно рассуждал он и потому предпочел отправиться с тем гульденом, который дал ему Адам, в ближайшую деревню.

В избе оказалась кухонная плита и два покая, поменьше и побольше, потому что летом здесь вместе с Гергом жи-

ли его жена и дети. Путники нуждались в отдыхе и в пище, и могли бы найти здесь и то, и другое, если бы страх не отнял у них и сна, и аппетита.

Герг обещал возвратиться завтра рано утром с лошадыю и повозкой, и это утешало беглецов. Даже Рахиль успокоилась и крепко заснула. Дети тоже спали, и наконец около полуночи задремала и бедная немая. Маркс растянулся около плиты и храпел, как сиплая труба органа.

Не спали только доктор и кузнец, усевшиеся на связке соломы и углубившиеся в серьезный разговор. Лопец рассказал своему другу всю свою биографию, историю радостных и печальных дней своих, и заключил словами: «Итак, теперь вы знаете, кто мы такие и почему покинули родину. Вы ради меня, Адам, жертвуете всем вашим будущим. Я не мог иначе отплатить вам за это, как рассказать вам все мое прошлое». Затем он протянул кузнецу руку и сказал:

– Вы – христианин. Быть может, после всего, что вы только что выслушали, и вы отречетесь от меня.

Адам молча пожал руку доктора и глухо сказал после некоторого молчания:

– Если они вас поймают, Пресвятая Богородица!.. Если они узнают!.. Руфь – ведь это не еврейское дитя! А вы как ее воспитали? Еврейкой?

– Нет, Адам, нет; мы воспитали ее ни еврейкой, ни христианкой.

– Но крещена ли она по крайней мере?

Лопец отвечал на этот вопрос отрицательно. Кузнец неодобрительно покачал головой, а доктор сказал:

– Она знает о Иисусе Христе больше, чем иное христианское дитя в ее годы. Когда она вырастет, то сама решит, принять ей религию своего отца или своей матери.

– Отчего вы сами не сделались христианином? Простите мне этот вопрос. В душе вы, без сомнения, христианин.

– Видите ли, Адам, это такой вопрос... такого рода вопрос. Представьте себе, что в вашем семействе все мужчины, из рода в род, в течение столетий, были кузнецами, и вдруг ваш сын, подросток, сказал бы вам: «Я презираю твое ремесло».

– Если бы Ульрих сказал: я хочу быть живописцем, – я бы ничего против этого не имел.

– Даже в том случае, если бы вас, кузнецов, преследовали, как нас, евреев, и он только из страха бросил бы ваше ремесло ради другого?

– Это... нет, это было бы подло. Но ваше сравнение кажется мне не совсем подходящим. Видите ли... ведь вы все знаете, вы знакомы и с христианством; вы высоко ставите Спасителя... вы сами мне это раньше говорили. Ну, хорошо. Предположите же, что вы найденыш и что вам предоставляют на выбор вашу и нашу веру, какую вы бы выбрали?

– Мы молимся о жизни, о мире, а там, где мир, там и любовь. И все же я, быть может, избрал бы вашу веру.

– Ну вот видите!

– Нет, постойте, Адам, постойте. Этот вопрос не разрешается так легко. Видите ли, я уважаю вашу веру и ничего не имею против нее. Сыну или дочери не пристало порицать то, что делают их родители и чего они и от них требуют; но посторонний человек смотрит на вещи другими глазами. Вы находитесь по отношению к вашей церкви в положении сына, я – нет. Я знаком с учением Иисуса Христа, и если бы я в Его время жил в Палестине, то один из первых последовал бы за ним. Но с тех пор и до наших дней к его учению пристало много постороннего, людского. Для вас это людское может быть дорого, потому что это создание ваших родителей и предков, но меня оно пугает. Я всю жизнь боролся, я ночей недосыпал в искании правды, но если бы от меня потребовали, чтобы я сказал «да» на все, что утверждают ваши патеры, я бы не смог сделать этого, не став лжецом.

– Да, патеры наши, конечно, причинили вам много зла: они пытали вашу жену, изгнали вас с вашей родины...

– Все это я спокойно перенес! – воскликнул доктор в волнении. – Но есть много другого, что сделали мне и моим близким и чему нет и не может быть прощения. Я знаком с великими языческими философами и с их сочинениями; но их любовь простирается только на народ, к которому они принадлежат, а не на человечество. Они не признают в отношениях людских необходимости бескорыстной справедливости. Христос распространил любовь на все народы, и Его сердце было достаточно обширно, чтобы любить все чело-

вечество. Любовь к ближнему, самая чистая и прекрасная из всех добродетелей, – вот высокий дар, драгоценное наследие, оставленное Им рожденным для страдания братьям своим. Сердце, бедное сердце, бьющееся под этим черным сукном, родилось для любви, душа эта жаждала посылить помогать ближнему и утолять его страдания. Любить людей – значит быть добрым; но они уже не знают этой любви, а что еще хуже, тысячу раз хуже, – так это то, что они как бы задались целью мешать мне и моим единоверцам быть добрыми в смысле учения их великого Учителя. Быть богатым – не значит быть счастливым, а между тем еврею не возбраняется только погоня за внешним богатством, и они не отнимают у него и половины того, что он добывает. Они, как бы ни желали того, не в состоянии также помешать нам стремиться и к духовному богатству, к чистому познанию, потому что дух наш витает не ниже вашего. Ведь вдохновенные пророки родились, жили и учили на Востоке! Но они отказывают нам в счастье любить род людской, ибо для такой любви необходима возможность чувствовать и страдать вместе со всеми, а этого-то они и не желают дозволить нам. Ваша христианская любовь к ближнему прекращается при встрече с евреем; мало того, вы даже запрещаете еврею быть добрым. Вот это-то запрещение и составляет такое преступление, для которого нет и не может быть прощения. И если бы сам Христос возвратился на Землю и увидел преследующую нас стаю, то Он, олицетворенная любовь, широко

раскрыл бы перед нами свои объятия и спросил бы: «Кто эти апостолы ненависти? Я их не знаю».

Доктор замолчал, потому что скрипнула дверь, и встал с покрасневшими щеками, чтобы заглянуть в соседнюю комнату. Но кузнец удержал его и сказал:

– Не беспокойтесь; это, без сомнения, Маркс. Да, в том, что вы говорили, быть может, немало истины; но скажите, разве не евреи распяли нашего Спасителя?

– И за это им до сих пор мстят! – ответил Лопец. – Конечно, и между моими соплеменниками есть немало дурных, низких людей, расточающих Божие дары в погоне за земными благами. Но кто же в этом виноват, как не вы же сами? Вы закрыли перед нами все более чистые и благородные пути и оставили открытыми только путь к наживе. И все это... Но довольно об этом. Меня волнуют такие разговоры, а мне нужно побеседовать с вами о другом.

И затем доктор, подобно человеку, осужденному на смерть, стал говорить с кузнецом о будущем своего семейства. Он указал ему, где он скрыл свое добро, и не утаил от него и того, что, женившись на христианке, он навлек на себя не только преследование христиан, но и проклятие своих единоверцев. Он обещал Адаму, в случае, если с последним приключится какое-либо несчастье, заботиться об Ульрихе, как о собственном своем сыне, и кузнец в свою очередь обещал ему, в случае, если он останется жив и свободен, сделать то же самое для Елизаветы и Руфи.

Тем временем на дворе, возле избы, велся иного рода разговор.

Маркс сидел у огня, когда дверь неслышно отворилась и его кто-то тихо окликнул по имени. Он в испуге обернулся, но тотчас же успокоился, так как это был Герг, который поманил его рукой и затем повел за собою в лес.

Маркс не ожидал с самого начала ничего хорошего, тем не менее он вздрогнул, когда Герг сказал:

– Я знаю, кого ты привез. Это – еврей. Не отнекивайся. Туда, в деревню, приехал объездчик из города. Он сказал, что тому, кто поймает его, будет выдана награда в пятнадцать гульденов. Пятнадцать гульденов – ведь это немаленькие деньги, и притом их получишь сразу, и господин викарий говорит еще...

– Что мне за дело до ваших попов! – воскликнул Маркс. – Я – честный малый; я знаю еврея как хорошего человека, и никто не посмеет его тронуть!

– Еврей – и хороший человек! – засмеялся Герг. – Впрочем, если ты не хочешь помочь мне, тем хуже для тебя. Тебя повесят, а пятнадцать гульденов я получу целиком. Хочешь поделить их, что ли?

– Ах черт побери! – пробормотал браконьер, и из его скривленного рта потекли слюнки. – А сколько составит половина от пятнадцати гульденов?

– Да я думаю, гульденов около семи.

– На эти деньги можно купить телку и свинью...

– Свиныю за еврея – вот и отлично! Итак, ты согласен?

– Нет, Герг, это не годится. Оставь меня в покое.

– Я-то, пожалуй, оставлю тебя, но господа судейские – это другое дело. Виселица уже давненько ждет тебя.

– Да ведь пойми же, я всю свою жизнь был честным человеком, а кузнец Адам и его покойный отец к тому же сделали мне много добра.

– Но ведь не о нем речь, а о еврее.

– Да он же причастен к делу, и если они его поймают...

– То посадят его на недельку в кутузку – вот и все.

– Нет, нет, отстань от меня, а не то я скажу Адаму, что ты замышляешь.

– А тогда я донесу на тебя на первого, висельник, плут, вор! Они уже давно точат на тебя зубы. Ну, решайся же, глупая голова.

– Да ведь и Ульрих с ними, а я этого парня люблю, как своего собственного сына.

– Ну так вот что. Я немного погодя приду, скажу, что не нашел повозки, и уведу его с собою, чтобы еще поискать ее. А когда все кончится, отпущу его на все четыре стороны.

– Я его возьму к себе. Он будет мне хорошим помощником. Ай, ай, ай, бедный еврей, он такой добрый, и несчастная жена его, и эта милая девочка, Руфь...

– Все они только евреи – не более того! Ты же сам рассказывал мне, как при твоём покойном отце их травили. Итак,

идет пополам? Вот они уже засветили огонь в комнате. Задержи их немного – граф Фролинген уже со вчерашнего дня караулит их в ближайшем замке; а если они захотят двинуться в путь, то наведи их на деревню.

– А я-то всю свою жизнь был честным человеком, – пробормотал Маркс и затем прибавил уже угрожающим тоном: – Смотри! Если что случится с Ульрихом!..

– Экой ты дурак! Да я с величайшей радостью оставляю тебе этого обжору. Теперь ступай в избу, а я затем приду и вызову парня. Ведь пятнадцать гульденов – это деньги.

Четверть часа спустя Герг вошел в хижину. Кузнец и доктор поверили углежогу, когда он сказал им, что все лошади и повозки ближайшей деревни на барщине, но что он еще поищет, пусть ему только дадут в помощь Ульриха, чтобы обойти другие соседние деревни: он имеет вид барчука, и на его предложение крестьяне скорее согласятся, чем на Гергово. Если он, бедный углежог, станет показывать крестьянам деньги, то это возбудит подозрение, потому что все окрестные жители отлично знают, что у него ничего нет за душой.

Адам спросил Маркса, какого он мнения на этот счет, и тот пробормотал в ответ: «Да, так будет ладно». Больше он ничего не сказал, и когда Адам протянул сыну на прощание руку и поцеловал его в лоб, а доктор ласково пожелал ему успеха, Маркс сам себя назвал Иудой-предателем, и ему хотелось швырнуть в лицо Гергу его гульден; но было уже

поздно.

Кузнец и Лопец слышали, как он тревожно кликнул вслед Гергу: «Береги парня!» – и когда Адам потрепал его по плечу и сказал ему: «А ведь ты славный малый, Маркс», – то он едва не взвыл и не открыл всего; но в это время ему показалось, что он снова чувствует на своей шее веревку, которая однажды уже обвивалась вокруг нее, – и промолчал.

Х

Уже стало светать, а между тем не было видно ни Герга, ни обещанной им повозки. Старая служанка, имевшая обыкновение вставать рано, спала так крепко, как будто желала наверстать недоспанные перед тем десять ночей; но Адаму не спалось, и ему сделалось душно в небольшой комнате. Он вышел во двор, и тоже проснувшаяся Руфь последовала за ним. Она робко прикоснулась к нему – атлетическая фигура молчаливого кузнеца всегда наводила на нее некоторую робость; он взглянул на нее сверху вниз с каким-то странным, испытующим участием и затем спросил ее, ни к селу ни к городу, с несвойственной ему торопливостью:

– Часто отец твой рассказывал тебе об Иисусе Христе?

– Да, часто, – отвечала девочка.

– И ты любишь Христа?

– Очень. Папа говорил, что Он очень любил всех детей и призывал их к себе.

– Да, да, конечно, – ответил кузнец и покраснел от стыда за свою недоверчивость.

Доктор не вышел вслед за ними, и как только жена его заметила, что они остались одни, то поманила его к себе. Он присел на ее кровать и взял ее за руку. Пальцы ее дрожали, и когда он ласково и озабоченно привлек ее к себе, то почувствовал, что она вся дрожит; большие ее глаза вы-

ражали страх и ужас.

– Ты боишься? – спросил он с участием.

Она задрожала еще сильнее, в страстном порыве обвила его шею рукой и утвердительно кивнула головой.

– А вот добудем повозку и с Божьей помощью еще сегодня же доберемся до долины Рейна, а там мы в безопасности! – старался Коста успокоить жену.

Но она отрицательно покачала головой, и черты лица ее приняли выражение презрения и недоверчивости. Лопец давно уже научился читать в них и потому спросил:

– Так, значит, ты боишься не погони; тебя тревожит что-то другое?

Она снова закивала усиленнее прежнего, вынула из-под одеяла спрятанное ею там распятие и показала им сначала вверх к небу, потом на него и на себя и при этом пожала плечами с выражением глубокой, тяжелой скорби.

– Ты думаешь о будущей жизни, – сказал он и продолжал более тихим голосом, опустив глаза в землю, – я знаю, ты боишься, что мы там не встретимся?

– Да, – с трудом проговорила она и припала головой к его плечу. На руку доктора скатилась горячая слеза, и ему самому хотелось плакать вместе с любимым, встревоженным существом. Доктор знал, что эта мысль часто отравляла ей жизнь, и он сострадательно приподнял ее красивую головку и крепко поцеловал ее в закрытые глаза. Затем он ласково заговорил:

– Ты моя, а я твой; и за могилой есть жизнь и царит вечная правда, и немые там возглаголят и будут дивно славословить Господа вместе с ангелами небесными, и терпящие муки здесь – там будут счастливы. Будем же надеяться оба! Помнишь, как я читал тебе на скамейке, возле фигового куста, Данте и старался объяснить тебе его «Божественную комедию»? У наших ног шумело море, а сердца наши вздымались выше волн морских. Как тихо было в воздухе, как ясно светило солнце! И мир Божий казался нам еще вдвое лучше, чем он был в действительности, когда мы об руку с великим певцом спускались в преисподнюю. Там на цветистом лугу ходили лучшие люди древности, и среди них поэт увидел в величавом уединении – помнишь ты кого! «E solo in parte vidi Saladin», – в числе их он увидел Саладина, мусульманина, победителя христиан. Если кто обладал ключом к тайнам загробного мира, Елизавета, то это был Данте. Язычнику, который был хорошим, справедливым человеком, который стремился к добру и правде, он отвел на том свете почетное место, а вместе с ним, надеюсь, и мне. Мужайся, Елизавета, мужайся.

Радостная улыбка заиграла на ее губах при напоминании об этих счастливейших часах ее существования; когда он замолчал и, посмотрев ей в глаза, сжал ее правую руку, ею овладело непреодолимое желание хоть один раз помолиться вместе с ним Спасителю; и вот она потихоньку высвободила свою руку из его руки, прижала левой рукой рас-

пятие к своей груди и стала просить его немым, ему одному понятным движением губ и со слезами на глазах:

– Молиться, молиться вместе со мною, молиться Спасителю!

Им овладело сильное волнение, его сердце забилося сильнее, ему хотелось вскочить и воскликнуть «нет!», не поддаваться минутной слабости и не склоняться перед тем, которого он не считал Богом. Но в это время взор его упал на выточенную искусною рукою из слоновой кости благородную фигуру Распятого на черном кресте, и вместо того чтобы, как он намеревался, оттолкнуть от себя распятие и гордо отвернуться от него, он стал всматриваться в лицо Божественного Страдальца и прочел в этих благородных чертах только страдание, и кротость, и любовь. Он вспомнил, что, подобно тому, как обливался кровью под терновым венком чистый, благородный лоб Распятого, и его собственное сердце не раз обливалось кровью. Он не нашел достойным себя отворачиваться от высокого Страстотерпца; ему показалось, что он должен с любовью отнести к Тому, Кто принес в мир любовь, – и он сложил свои руки, припал своими темными кудрями к белокурым кудрям Елизаветы, и оба они прочли вместе, в первый и последний раз горячую, хотя и немую, молитву.

Перед хижиной была довольно обширная, окруженная лесом поляна, на которой пересекались две дороги. Адам, вый-

дя с Марксом и Руфью, посмотрел сначала вдоль одной, потом вдоль другой, но ни там, ни здесь не увидал и не услышал ничего. Когда он, несколько встревоженный, направился обратно к избе, браконьер начал проявлять заметное беспокойство. Его кривой рот подергивало из стороны в сторону, все мускулы лица ходили ходуном, и все это представляло такое отвратительное, но в то же время такое смешное зрелище, что Руфь громко рассмеялась, а кузнец спросил углежoga, что с ним делается. Маркс ничего не ответил, так как его тонкий слух издали уловил собачий лай, и он-то прекрасно знал, что это означает. Слух кузнеца несколько притупился возле наковальни; он еще не слышал приближающейся опасности и потому еще раз спросил:

– Да что же наконец с тобою?

– Мне холодно! – ответил Маркс, ежась и гримасничая. Но Руфь их более не слушала; она остановилась, приложила руку к уху и вслушивалась во что-то, вытянув голову. Вдруг она вскрикнула и проговорила:

– Я слышу лай, Адам, я слышу лай!

Кузнец побледнел и покачал головой, но она настойчиво продолжала:

– Право же, я слышу лай. Вот, вот опять!

Теперь и Адам расслышал подозрительный шум в лесу. Он поспешно вынул из-за кушака свой тяжелый молот, взял Руфь за руку и поспешил с нею на поляну.

Тем временем Лопец разбудил старуху, чтобы все были

готовы тотчас же тронуться в путь, как только вернется Ульрих. Мучимый нетерпением, он вышел из избы, и когда увидел, что кузнец с девочкой торопливо направились к поляне, то побежал за ними, опасаясь, что с Ульрихом случилось какое-либо несчастье.

– Назад, назад! – крикнул ему Адам, и Руфь, освободив свою ручонку из руки кузнеца, тоже замахала ею и стала кричать: – Назад, назад!

Доктор последовал их совету и остановился. Но в эту самую минуту из-за поворота той самой дороги, по которой и они приехали вчера сюда, показалась сперва пара гончих, а вслед за ними, верхом на красивом вороном коне, граф Фролинген, подобный легендарному герою Зигфриду. Белокурые локоны развевались вокруг его головы, а пар, поднимавшийся от разгоряченного жеребца на свежем зимнем воздухе точно туманом обволакивал всадника. Лево́й рукой граф держал поводья, правой же высоко поднял над головой охотничье копьё. Когда он увидел Лопеца, из его бородатых уст раздалось громкое, радостное: «Ату его! Ату его!» Благородный граф охотился сегодня не на оленя, а на дичь особого рода – на беглого еврея. Травля оказалась успешной, породистые гончие славно исполняли свое дело, а его любимый охотничий конь Эмир не отстал от них ни на шаг. Славный выдался денек!

– Ату его! Ату его! – еще раз закричал Фролинген и через секунду осадил своего коня возле доктора, воскликнув: –

Затравил-таки! На колени!

Свита графа далеко отстала, и он был совершенно один. Лопец продолжал стоять, скрестив на груди руки, и не думал исполнять его приказания. Тогда граф обернул свое копьё, чтоб ударить еврея тупым концом его. Но в это мгновение в Адаме проснулась, в первый раз после многих лет, старая злоба. Подобно тигру он кинулся на графа, обвинил его, прежде чем тот успел обернуться, своими мощными руками, стащил с седла, придавил его грудь коленом, выхватил молоток из-за пояса и одним ударом его положил на месте кинувшуюся было на него гончую. Затем он вторично поднял тяжелый молот, чтобы раздробить череп ненавистного ему человека.

Но Лопец не желал спасения ценою смертоубийства; он закричал умоляющим голосом:

– Оставьте его, Адам, оставьте его! – И ухватился обеими руками за поднятую руку кузнеца. Когда тот все-таки попытался освободить свою руку, доктор прибавил: – Мы не должны платить им злом за зло!

Снова тяжелый молот поднялся над головою графа, и снова еврей обхватил руку кузнеца, воскликнув на этот раз уже повелительно:

– Пощадите его, если вы мне друг!

Что значила его сила сравнительно с силой кузнеца! И все же Лопец всячески старался, когда молот поднялся в третий раз, предотвратить убийство. Он крепко уцепился

за кулак разъяренного Адама и простонал, опускаясь на колени подле графа:

– Подумайте об Ульрихе. Сын этого человека один во всем монастыре не обижал вашего сына, он был его другом – один из всех! Пощадите его, Адам, ради Ульриха пощадите его!

Все это время кузнец левой рукой прижимал графа к земле, а правой старался оттолкнуть доктора. Еще одно последнее усилие – и поднятая для убийства рука оказалась свободна; но он добровольно опустил ее, последние слова друга сломили его гнев.

– Возьмите, – глухо проговорил он и протянул доктору молоток.

Тот схватил его, радостно поднялся, положил руку на плечо кузнеца, который продолжал придерживать коленом распростертого на земле графа, и сказал:

– Оставьте его. Он не более, как...

Фраза его осталась неоконченной: из его уст вылетел сдавленный крик, он одной рукой схватился за грудь, другой за голову и повалился в снег возле срубленной ели. Из лесу неся оруженосец графа, держа высоко над головой лук; он только что пустил из него меткую стрелу, которая глубоко вонзилась в грудь доктора. Оруженосец, увидев издали молоток в руке еврея, вообразил, что последний угрожает жизни графа, и поспешил спасти жизнь своему повелителю.

Граф поднялся с земли, тяжело дыша. Он схватился рукою за охотничий нож, но тот во время борьбы выпал из но-

жен и лежал в снегу. Адам обхватил руками умирающего друга, Руфь побежала в избу, и, прежде чем граф окончательно пришел в себя, подле него очутились оруженосец, выпустивший смертоносную стрелу, молодой граф Липс, только что прискакавший из леса, и еще три графских охотника.

Все они окружили графа, и между ними начался оживленный разговор. Граф не обратил почти никакого внимания на своего сына, но жестоко накинулся на оруженосца, пустившего в еврея смертоносную стрелу. Затем он хриплым голосом приказал взять кузнеца; тот и не думал сопротивляться и безропотно дал связать себя.

Лопец не нуждался более в его поддержке: бедная немая сидела на обрубке дерева, и голова мужа лежала на ее коленях. Она обвила своими руками его окровавленное тело, а ноги умирающего свесились в снег. Руфь, рыдая, сидела подле матери, а старая Рахиль, вполне пришедшая в себя, протирала доктору лоб смоченным в вине платком.

Молодой граф приблизился к умирающему. Его отец последовал за ним, привлек к себе мальчика и сказал тихим и грустным голосом:

– Мне жаль этого человека; он спас мне жизнь.

В это время раненый открыл глаза, увидел графа, его сына и связанного кузнеца, почувствовал горячие слезы жены на своем холодеющем лбу и услышал рыдания дочери. Кроткая улыбка заиграла на побледневших губах, и он попытался приподнять голову; Елизавета помогла ему, прислонив голо-

ву мужа к своему плечу.

Лопец поднял на нее глаза, как бы в знак благодарности, зашевелил губами и шепотом сказал:

– Стрела... не трогайте ее. Елизавета... Руфь... мы были друг другу верными спутниками жизни... но теперь я ухажу... я должен вас покинуть.

Он замолчал; у него потемнело в глазах, и веки его медленно опустились. Но вскоре он опять приподнялся, глядя на графа и сказал:

– Выслушайте меня, господин; умирающего следует выслушать, даже если он и еврей. Видите ли: вот жена моя, вот дочь. Они христиане. Вскоре они останутся одни, покинутые, осиротелые. Вот тот кузнец – единственный их друг. Освободите его: они... они... они нуждаются в покровителе. Моя жена нема... нема... одинока, одна на свете. Она ничего не может ни попросить, ни потребовать. Освободите Адама ради вашего сына... ради вашего Спасителя... Освободите... Пусть между вами и ими лежит большое пространство... Пусть он отправится с ними далеко... очень далеко... Освободите его... Я удержал его руку с поднятым молотком... вы знаете... с молотом... Освободите его... Пусть моя смерть послужит искуплением...

Голос снова изменил умирающему. Граф, явно тронутый, в нерешительности смотрел то на него, то на кузнеца. Сын его обливался слезами, и, когда он увидел, что отец медлит с исполнением последней просьбы умирающего, и туск-

неющий взгляд несчастного доктора встретился с его взглядом, он крепче прижался к борющемуся с самыми противоречивыми чувствами графу и сквозь слезы шептал:

– Батюшка, батюшка, завтра Рождество. Ради Христа, из любви ко мне, исполни его просьбу: освободи отца Ульриха, освободи его. Сделай это. Я не желаю никакого другого подарка на елку.

Наконец граф стал смягчаться; а когда он снова поднял глаза, и увидел Елизавету, и прочел глубокое горе в ее кротких чертах, а на коленях ее – красивую даже в минуту смерти голову умирающего ученого, ему показалось, что он видит перед собой опечаленную Мадонну, – и он заставил замолчать свою гордость, забыл о нанесенном ему оскорблении и крикнул так громко, чтобы умирающий не пропустил ни одного его слова:

– Благодарю вас за оказанную мне помощь. Адам свободен и может отправляться с вашей женой и дочерью, куда пожелает. Клянусь вам честью, вы можете умереть спокойно!

Лопец улыбнулся, поднял руку, как бы в знак благодарности, затем опустил ее на голову своего ребенка, в последний раз с любовью взглянул на Руфь и прошептал:

– Елизавета, приподними мне повыше голову. – И после того как она исполнила его желание, он взглянул ей прямо в лицо и с трудом проговорил: – Смерть – это сон без сновидений. Человек обновляется, получает иные формы в вечном круговороте жизни... Нет, видишь ли, слышишь ли. Solo

in parte... С вами... С вам... О стрела!., долой ее из раны!
Елизавета, Елизавета... ой как больно... Ну что же. Мы бы-
ли жалки... несчастны... и все же, все же... ты... ты... я...
мы... мы знаем, что такое счастье... Ты... я... прости ме-
ня... я прощаю, прощаю...

Рука умирающего соскользнула с головы ребенка, его гла-
за закрылись, но ласковая улыбка, с которой он умер, и по-
сле смерти продолжала играть на губах его.

XI

Граф Фролинген произнес вполголоса «аминь», когда умирающий замолк. Затем он подошел к бедной вдове и старался утешить ее, со свойственными ему приветливостью и сердечностью. Наконец, он приказал своим слугам развязать кузнеца и немедленно проводить его с женщинами и ребенком до границы. Он обратился и к Адаму с немногими словами, но не ласковыми, а суровыми и серьезными, приказывая ему немедленно покинуть страну и никогда не возвращаться на родину.

Труп доктора положили на носилки, наскоро сделанные из сосновых ветвей, и слуги графа унесли его.

Руфь, видя, как уносили тело отца, крепко прижалась к матери, и обе они дрожали, как две осинки на ветру, но только ребенок мог плакать.

До полудня слуги графа, оставленные им вместе с кузнецом, чтобы дожидаться возвращения Ульриха, прождали мальчика, но так как тот не появлялся, они стали настаивать на отъезде, и все двинулись в путь. Они дорогой не обменялись ни единым словом, пока не дошли до дома Герга. Сам он был в городе, однако жена углежога сообщила, что паренек с час тому назад заходил сюда, а затем опять убежал в лес. Она посоветовала им подождать его в корчме. Путники последовали этому совету. Адам, устроив там женщин,

снова отправился на место печального происшествия и дожидался там Ульриха до тех пор, пока окончательно не стемнело.

Около пня, возле которого Лопец испустил дух, кузнец долго молился и дал обет своему покойному другу посвятить всю свою жизнь его семейству. Адама окружал безмолвный лес, но ему казалось, что он в церкви и что каждое дерево в лесу является свидетелем приносимой им клятвы.

На следующее утро кузнец снова отправился в дом углежога, и на сей раз застал его; Герг побранил нетерпеливого мальчика, но обещал вместе с Марксом разыскать и привести его к Адаму. Провожавшие Адама всадники стали торопить его, и кузнецу пришлось направиться без Ульриха на северо-запад, в долину Рейна.

Угольщик лишился платы как за свой донос, так и за благополучную доставку беглецов к месту их назначения. Он в это утро заманил Ульриха на чердак и там запер его; но во время его отсутствия мальчик убежал.

«Ловкий же парень! – рассуждал сам с собою угольщик. – Ведь ему невозможно было бежать, иначе как спрыгнув из чердачного окна на землю и перескочив затем через забор».

Предположения Герга были совершенно основательны: действительно, Ульрих, как только заметил, что попал в западню, выскочил из окна и выбрался на большую дорогу. Он сознавал, что ему следует предупредить своих, и страх

за них убыстрял его шаги. Несколько раз он сбивался с пути, но наконец вышел на верную дорогу. Он понимал, что потерял немало времени сначала в поисках повозки, потом в заключении и, наконец, в разыскивании дороги. Солнце стояло уже высоко на небе, когда он добрался до поляны. Хижина была пуста; на его громкие, встревоженные оклики никто не отвечал.

Куда бы они могли деваться? Он стал искать на обширной, покрытой снегом поляне следы – и нашел их даже слишком много: тут на снегу отпечатались конские копыта, там – маленькие и большие подошвы, а здесь, – о Боже! – здесь, возле срубленного дерева, алая кровь окрашивала снег.

У него защемило в груди, стало не по себе, но он не прекращал своих поисков.

Здесь, где на снегу ясно можно было отличить отпечаток человеческого тела, очевидно происходила борьба, а вот – Пресвятая Богородица! – вот и молот его отца! Он отлично знал его, это был маленький молот, тот, который отец, в отличие от двух больших, Голиафа и Самсона, называл Давидом и который сам Ульрих по крайней мере раз сто держал в руке.

Сердце его сжалось; а когда он заметил свежесрубленные еловые ветви и отброшенный в сторону – очевидно, непригодившейся – шест, он сказал сам себе: «Вот здесь делали носилки», – и его живое воображение рисовало ему борющегося с превосходящими силами отца, изнемогшего нако-

нец от ударов многочисленных врагов, – и затем печальное шествие. Он ясно видел недобрые ухмылки графских слуг, несших на носилках могучее тело отца и изящный, облаченный в черную одежду труп доктора. За ними следовала красивая немая молодая женщина и связанная Руфь и, наконец, Маркс и Рахиль. Он не только мысленно увидел все это как наяву, но ему казалось даже, будто он слышит рыдания женщин. Ульрих схватился руками за свои пышные кудри и стал метаться из стороны в сторону. Но в это время ему пришло на ум, что всадники возвратятся и заберут и его в плен. Прочь, прочь, прочь! – звучало у него в ушах, и он побежал без оглядки прямо на юг.

Кроме овсяного киселя, который он съел утром у угольщика, у него не было в течение целого дня во рту ни маковой росинки; но тем не менее он не чувствовал ни жажды, ни голода и все бежал вперед, все бежал, не разбирая дороги.

Отец продолжал ожидать его на большой дороге, а он все бежал. Наконец у него перехватило дыхание, и шаги его стали замедляться и укорачиваться. Луна взошла, звезды одна за другой засветились, а он все спешил вперед и вперед.

Лес остался позади; Ульрих выбежал на широкую большую дорогу. Он направился по ней на юг, все на юг, и шел до тех пор, пока силы не изменили ему окончательно. Голова и руки его горели, как в огне, а между тем было холодно, очень холодно; но здесь, в долине, было мало снега, а местами он различал при свете луны почерневшую почву.

Мальчик совершенно забыл свое горе и чувствовал только усталость, страх и голод. Он уже подумывал было о том, чтобы растянуться на земле тут же, на большой дороге, но ему вспоминались слышанные им рассказы о замерзших людях, и он дотащился до ближайшей деревни. В ней огни уже давно были потушены, но собаки на дворах, заслышав его приближение, поднимали лай, а из сараев раздавалось жалобное мычание коров.

В конце деревни стоял амбар, и в одной из стен его он увидел, при свете луны, отверстие. Он решился влезть в него и действительно вскарабкался туда, хотя и не без труда. Он растянулся на мягком душистом сене и во сне увидел своего отца, израненного и окровавленного, и доктора, танцевавшего со старой Рахилью, и разные другие смутные образы. Понятно, ему приснилась и Руфь; она повела его в лес, к кусту можжевельника, и показала гнездо, в котором было несколько птенчиков; но ему противен был вид этих полуголых созданий, и он растоптал их ногой, и Руфь так громко и сильно расплакалась, что он проснулся.

Уже рассветало. Голова у него болела, он чувствовал голод и холод, но не обращал на это внимания, думая только о том, как бы убраться подальше. Он выбрался из своего убежища, вынул из волос и снял со своего платья приставшее к ним сено и опять двинулся к югу. В воздухе потемнело и пошел сильный снег, поэтому трудно было идти; голова у него болела нестерпимо, и, переступая ногами, он чувство-

вал как бы свинцовые подошвы на своей обуви. Ему встретилось несколько возов, сопровождаемых вооруженной стражей, и несколько крестьян с четками в руках, направляющихся, очевидно, в церковь, но еще никто не обогнал его.

Незадолго до полудня он вдруг услышал за собою конский топот и бряцание оружия; шум все более и более приближался. Что, если это погоня! Сердце его сильно забилося, и когда он оглянулся, то увидел нескольких всадников, скакавших по тому же направлению, в котором шел и он. Он различил пестрые кафтаны, блиставшие на солнце копья и – о ужас! – значки с цветами фролингенского графа.

Спасения не было, разве что перед ним расступилась бы земля: справа расстилалась занесенная снегом равнина, слева возвышалась почти отвесная скала; на скале виднелись кресты и надгробные памятники; очевидно, жители соседнего местечка устроили здесь свое кладбище. Могильные курганы, кусты можжевельника и кипарисные деревья были покрыты снегом, а на белой пелене тем заметнее темнели кресты.

В глубине кладбища виднелась часовенка, и Ульрих решил перебраться через ограду и спрятаться в ней. Всадники уже были близко. Он собрался с последними силами, поставил ногу на выдавшийся из ограды камень и стал влезать на нее. Вчера ему ничего не стоило бы влезть, но в этот день он был обессилен голодом и долгой дорогой и потому постоянно соскальзывал на землю. Всадники его заметили, и один

молодой стражник крикнул другому:

– Ишь бродяга! Смотри, как старается улизнуть!

– Дай-ка я схвачу его.

С этими словами он дал коню своему шпоры, и в то самое время, когда мальчику удалось наконец взобраться на ограду, он схватил его за ногу. Но Ульрих успел ухватиться за надгробный камень, башмак его остался в руке стражника, товарищи которого громко расхохотались. Несчастный Ульрих пустился бежать и перескочил через добрый десяток могильных насыпей, но запнулся о надгробный камень, сплошь покрытый снегом и потому не замеченный им. Беглец поднялся и опять пустился бежать, но вторично упал и на этот раз не в силах был подняться. Он обхватил руками черный крест и, теряя сознание, опять вспомнил о «слове», и ему казалось, что какой-то голос подсказывает ему это слово, но он от усталости и слабости не смог запомнить его.

Молодой стражник, подзадоренный смехом товарищей, решил во что бы то ни стало схватить бродягу. Со словами: «Погоди же ты, бестия», – он соскочил с седла, бросил поводья своему соседу и спустя две минуты склонился над беглецом. Он толкал и тряс его, но все было тщетно. Тогда он крикнул другим, что парень, кажется, умер.

– Нет, так скоро не умирают, – заметил седой начальник стражи, – вытяни-ка его хорошенько саблей!

Молодой стражник поднял было руку для удара, но остановился: он взглянул Ульриху в лицо, и ему стало жаль под-

ростка.

– Нет, Петер, не нужно, славный мальчишка; поди, взгляни сам, – говорят тебе, он умер!

Тем временем и путешественник, которому всадники служили конвоем, подъехал к кладбищу. Человек средних лет, укутанный в дорожную шубу, выглянул из окна кареты, заметил какое-то замешательство и тотчас же велел остановиться. Начальник конвоя увидел лестницу, ведущую на кладбище, и вместе с путешественником поднялся по ней. Голова Ульриха лежала на коленях стражника, и пожилой господин с участием взглянул ему в лицо. Оно ему, очевидно, понравилось, потому что он подозвал к себе начальника конвоя и сказал:

– Поднимите его. Мы его возьмем с собой. В повозке для него найдется место.

В это время подъехала повозка, о которой говорил путешественник. Она была покрыта парусиной, а на багаже путника и между ним сидели или лежали четыре человека, подобранные владельцем кареты во время пути и составлявшие весьма пестрое общество. Тут были два монаха, магистры Сутор и Штубенрах, севшие в повозку еще в Кёльне. Оказалось, что карета и повозка принадлежали живописцу Моору¹⁴, который из Утрехта ехал в Мадрид ко двору испан-

¹⁴ Моор, точнее Мор ван Дасхорст Антонис (ок. 1519–1576 или 1577) – видный нидерландский живописец-портретист, известный также под Именем Антонио Моро.

ского короля Филиппа II¹⁵. Опушенная соболем теплая шапка его и крытая бархатом шуба показывали, что это был человек состоятельный.

Оба духовные лица заняли лучшие места в повозке. Они были неразлучны и представляли, так сказать, одну душу в двух телах. Толстый магистр Сутор представлял собою в этой двуединой душе волю, а худощавый Штубенраух – обсуждение и исполнение. Если один предлагал лечь или сесть, есть или пить, спать или говорить, то другой немедленно приводил это в исполнение и при этом резонно доказывал, почему именно теперь следует делать то или другое.

Ближе к лошадям лежал, прислонившись спиной к сундуку, красивый молодой солдат, Это, очевидно, был веселый, проворный малый, но он был ранен в левую руку и поддерживал ее правой, причем все лицо его выражало страдание.

Против него лежала связка соломы, под которой по временам что-то шевелилось и из нее с небольшими промежутками раздавался легкий кашель.

Когда отворились двери повозки и в нее проник холодный зимний воздух, магистр Сутор произнес: «Б-ррр», а его худощавый товарищ принялся ворчать на остановку, на сквозной ветер, на опасность простуды. Но, увидев лицо художника, он тотчас же замолчал, потому что Моор вез их даром; он только последовал примеру своего спутника и с выражением неудовольствия на лице плотнее укутался в сутану.

¹⁵ Филипп II (1527–1598) – испанский король с 1556 года.

Моор не обратил ни малейшего внимания на эти проявления недовольства, а спокойно пригласил спутников освободить местечко для мальчика. Тогда из-под соломы приподнялась укутанная голова и воскликнула: «Лазарет на четырех колесах!» – и снова скрылась, как голова рыбы, выпрыгнувшей из воды.

– Совершенно верно, – заметил художник. – Нет, вам незачем так подбирать ноги, – обратился он к солдату, – но я попрошу господ магистров несколько раздвинуться или сдвинуться, чтобы освободить место на кожаной подушке для больного.

При этих словах один из стражников поднял Ульриха, все еще не пришедшего в сознание, и положил его в повозку. Магистр Сутор, заметив снег на волосах и на платье мальчика, хотел привстать и произнес даже: «Нет», – а Штубенраух добавил недовольно:

– Когда снег растает, здесь образуется лужа. Вы предоставили нам эти места, господин Моор, но, надеюсь, не для того, чтобы мы промокли и простудились....

Он еще не успел закончить свою фразу, как из-под соломы снова вынырнула укутанная голова и раздался пронзительный голос:

– А что, кровь раненого путника, которого самаритянин поднял на дороге, была суха или мокра?

Магистр Сутор взглядом пригласил своего товарища дать надлежащий ответ, и тот поспешил ответить:

– Самаритянина заставил найти на дороге сам Господь, а этого в данном случае не случилось, нам навязывают мокрого мальчугана, и хотя мы и самаритяне...

– То во всяком случае не милосерды, – снова раздалось из-под соломы.

Живописец засмеялся, а солдат ударил себя здоровой рукой по колену и сказал:

– Эй вы, там, давайте сюда парня, кладите справа от меня! раздвиньтесь-ка, честные отцы! Вода нам не повредит, лишь бы вы попотчевали нас винцом из вашего погребца.

Духовным особам ничего не оставалось, как раздвинуться, и Ульрих был положен между ними на подушку. Сутор, а за ним и Штубенрах съезжились, чтобы не прикоснуться к мокрому подростку, и стали перебирать четки, молясь за больного мальчика; художник же влез в повозку и, не спрашивая монахов, вынул вино из их погребца. Солдат помогал ему, и вскоре их соединенными усилиями удалось привести Ульриха в чувство. Затем они пустились в дальнейший путь и к вечеру прибыли на ночлег в Эммендинген. Всадники графа Гохбергского, которым приходилось отсюда конвоировать путешественников, отказались ехать в первый день Рождества. Моор на это согласился, но когда они объявили, что не поедут и завтра, на второй день праздников, он пожал плечами и объявил, не возвышая голоса, спокойно, но твердо, что в таком случае, должно быть, придется, хотя бы и при содействии их господина, проводить их зав-

тра до Фрейбурга. Гостиница в Эммендингене принадлежала к числу самых обширных и лучших в Фрейбургском округе, а так как здесь обыкновенно происходила смена конвоя, в ней было достаточно помещений для лошадей и для людей.

Как только Ульриха внесли в натопленную комнату, он вторично лишился чувств, и художник стал заботиться о нем, как о родном сыне. Оба духовные лица усердно принялись за еду и питье, тогда как тот человек, который в повозке все время лежал под соломой, усердно помогал Моору в уходе за больным мальчиком.

Это был шут по профессии, что, между прочим, ясно изобличало и его одеяние. Огромная голова шута неуклюже сидела на тонкой шее; черты лица, хотя и болезненные, были подвижны и крайне смешны, и, когда он кашлял, губы его постоянно шевелились. Когда Ульрих стал дышать спокойнее, он принялся обшаривать его карманы, в надежде найти хоть какие-нибудь указания относительно личности мальчика. Все, что он в них находил, вызывало его на разные странные предположения и догадки. Да и то сказать, вряд ли что-либо на свете представляет более разнообразное содержание, чем карман школьника, если, конечно, исключить карман молодой девушки тех же лет.

Тут был и клочок бумаги с кишачим ошибками латинским переводом, и гладкий камешек, и зазубренный ножик, и кусок мела для рисования, и железный наконечник стрелы, и сломанный гвоздь от подковы, и перчатка сокольника.

чьего, подаренная графом Липсом своему товарищу. На шею его нашелся и перстенок, подаренный ему женою доктора. Все это навело Пелликана – так звали шута – на разные предположения, и он ни одного из них не оставил без внимания. Подобно тому, как складывают мозаичную картину из мелких камешков, он старался составить себе по найденным предметам представление о личности мальчика, о его родителях и о школе, из которой тот, очевидно, убежал.

И Пелликан пришел к заключению, что это, должно быть, сын рыцаря среднего достатка. В этом отношении он, конечно, ошибся, но во всем остальном с завидной проницательностью определил социальное положение мальчика. Он уверял, между прочим, что у Ульриха, наверное, нет матери: это доказывается тем, что у мальчика недостает многого, без чего заботливая мать не выпустила бы сына из своего дома. Пелликан пришел также к тому заключению – он был хороший латинист, – что парень слишком поздно поступил в школу и слишком рано – для своего возраста – попал на коня, в лес, на охоту.

Между тем художник, не вдаваясь в остроумные и глубокомысленные соображения шута, с первого взгляда сделал более верные выводы. Ульрих понравился ему сразу, а когда Моор увидел набросок, сделанный пером на обертке латинской грамматики, он улыбнулся и решил принять участие в судьбе незнакомца, случайно подобранного им на большой дороге. Художнику хотелось только выяснить, кто его роди-

тели и что выгнало его из школы.

Местный лекарь пустил больному кровь, и вскоре после того Ульрих крепко заснул и дышал во сне спокойно. Художник и шут принялись за обед; монахи давно уже окончили свою трапезу и улеглись спать; солдату, который скромно сидел в углу большой комнаты для проезжающих и меланхолично глядел на свою раненую руку, по распоряжению Мора подали жареной говядины и вина.

– Бедняга! – сказал шут и кивнул головой на симпатичного воина. – Мы с ним товарищи по несчастью, мы оба представляем собой телегу со сломанным колесом.

– Рука у него скоро заживет, – заметил художник, – а ваш инструмент, – и он прикоснулся рукою к своим губам, – и без того действует исправно. Я и святые отцы убедились в этом в течение последних дней.

– Да, да, – кивнул шут с горькой усмешкой, – а все же меня бросают к старому хламу. Знаете ли, чего господу требуют от нас, шутов?

– Чтобы вы забавляли их своими шутками.

– Но имеем ли мы право быть настоящими шутами, господин? Подумали ли вы об этом? И в веселые минуты – менее всего. Тогда от нас требуют, чтобы мы разыгрывали из себя мудрецов, предостерегали от излишеств, показывали теневые стороны. Но в горе, в тяжелые времена – шут будь шутом. Чем больше ты тогда дурачишься, тем лучше; тогда, если ты хорошо знаешь своего господина и свое ремесло, ты за-

ставишь его смеяться до слез, между тем как он желал бы реветь белугой. Вы неплохо знакомы с сильными мира сего, господин, но я знаком с ними лучше вас. Они считают себя земными богами и не желают подчиниться общей участи смертных – ощущать горе и страдания. Когда они больны телом, они призывают своего лейб-медика, а когда они больны душою – то мы у них под рукой. Во всем можно найти смешную сторону, и на самом безукоризненном лице найдется бородавка, над которой можно потешаться. Раз вы посмеялись над несчастьем или неудачей – последние уже утратили свое жало. Мы притупляем его, мы освещаем мрак – пусть хотя бы и блуждающими огнями, – и, если мы умело принимаемся за свое дело, раздробляем глыбу горя на маленькие осколки, и оно не давит нас так сильно.

– Это в состоянии сделать и больной грудью шут, лишь бы у него было что-нибудь в голове.

– Вы ошибаетесь, право, ошибаетесь! Знатные господа желают видеть только лицевую сторону жизни, а не изнанку ее, не говоря уже о смерти. Наш брат – больной, чахоточный, полутруп, стоящий одной ногой в могиле, – наш брат кричит в уши страусу, зарывшему голову в песок; «Охотники видят тебя; они приближаются». От меня требуют, чтобы я протянул завесу между очами моего господина и картиной страданий, а между тем вся моя фигура представляет ему собою картину страданий. Нет, мой господин был мудрее своего шута, вытолкав меня из своего дома.

– Однако он уволил вас только в отпуск, для поправления здоровья.

– Да, но он сейчас же поспешил подыскать мне преемника. Он знает, что ему недолго придется платить мне пенсию. Он бы охотнее всего закормил бы меня у себя до смерти, но вместе с этим он доволен и тем, что я уехал в Геную. Чем дальше от него его околевающий шут, тем приятнее ему.

– Почему же вы не отложили вашего отъезда до весны?

– Потому что Генуя – теплица, нужная мне зимой, а не летом. Зимой там чудесно. Я испытал это года три тому назад, когда ездил туда с герцогом. Там даже в январе солнышко отлично греет и дышится там легко нашему брату. Я пойду туда через Марсель. Можете вы мне оставить местечко в вашей повозке до Авиньона?

– С удовольствием! За ваше здоровье, Пелликан. Доброе пожелание, сделанное в первый день Рождества, по приметам всегда сбывается.

Низкий голос живописца звучал при этих словах приветливо и приятно. Их услышал и молодой солдат, и, когда художник и шут чокнулись стаканами, он тоже поднял здоровой рукой стакан, осушил его до дна и скромно спросил:

– Угодно ли вам послушать мою песенку, господин?

– Да, да! – живо ответил Моор и налил солдату второй стакан вина. Тот приблизился к столу и начал, не без некоторого смущения, опутив взгляд:

В день Рождества, когда Инсус
Родился на спасенье вам,
Солдатик, бедный и больной.
Так от души молил Христа:
– Господь, услышь меня! Вот здесь
Сидит предобрый человек;
Он мне, несчастному, помог
И до дому меня довез.
За то молю Тебя. Христос,
И Ты возьми его к себе,
И после сладкой жизни сей
Прими его в Твоем раю.

– Отлично, отлично! – воскликнул Моор и пригласил солдата присесть за их стол, между собой и шутом.

Пелликан задумался. Ему казалось, что оказавшееся под силу простому солдату должно быть возможным и для него. В данном случае им руководили не только честолюбие и привычка отвечать на всякий экспромт еще более удачным экспромтом, но и желание отблагодарить своего великодушного благодетеля подходящим стихом. По прошествии нескольких минут, в течение которых художник беседовал с солдатом, Пелликан поднял стакан, откашлялся и начал сначала спокойным голосом, но затем все более и более волнуясь:

Шут принужден быть дураком,
Без глупости – и шут не шут.

Лишь от союза шутовства
И глупости выходит прок.
Барон, и папа, и солдат –
Все носят шутовский колпак,
А тот, кто думает, что он
Без колпака – глупее всех.
Пусть же тебя украсит он,
Когда ты добрым стариком,
С венком лавровым на челе,
В богатстве, славе и чести,
Своих внучат качая, дни
Былые будешь вспоминать.
Тебе лишь в старости седой
Напиток мудрости в удел
Достанется – но и тогда
В нем будет капля шутовства,
А чтоб ее не позабыть,
Меня припомни, старика:
Полумудрец и полушут
Был добрый малый Пелликан.

– Спасибо, спасибо! – воскликнул живописец и пожал шу-
ту руку. – Хороший выдался нам праздник: мудрость, искус-
ство и храбрость за одним столом. Со мною случилось то,
что в сказке с тем человеком, который по дороге собирал
камни, превратившееся в его сумке в чистое золото.

– Камни-то были хрупки, – ответил шут, – что же касает-
ся золота, то его у меня хватит, если только вы станете его

искать в моем сердце, а не в кармане. Ах, святитель Блазий! Хоть бы моя могила так же долго оставалась пустой, как мой карман!

– И я не против этого! – смеясь, заметил солдат.

– Всегда с удовольствием буду я вспоминать эту нашу поездку, – вставил свое слово живописец. – Было время, когда и моя кошелек была не богаче вашей. Я отлично знаю, каково на душе бедняку, и никогда этого не забуду. За мною, по-настоящему, еще застольная песнь, но уж не взыщите: я в этом деле не мастер. Поэтому пожелаю вам попросту: тебе здоровья, Пелликан, а тебе, служивый, веселой и счастливой жизни. Как твое имя?

– Ганс Эйтельфриц фон дер Люкке, из Кёльна на Шпрее, – ответил солдат. – А в заключение позвольте предложить еще один тост, господин. О святых отцах озаботится уже сам Господь Бог; но вы, кроме них, приняли в свою повозку трех бедных, больных странников. Итак, выпьем еще один стакан вон за того красивого больного мальчика.

XII

После обеда живописец отправился со своим старым слугой, тоже плотно пообедавшим в людской и задавшим корму лошадям, в ближайший замок Гохбург, чтобы испросить себе конвой на следующее утро. Пелликан вызвался присмотреть за больным, который все еще крепко спал. Он бы сам охотно улегся спать, так как устал и озяб, но, хотя в комнате не было печи, он несколько часов кряду оставался на своем посту, у изголовья спавшего мальчика. Руки и ноги его ооченели, но он внимательно следил при слабом свете ночника за дыханием Ульриха и смотрел на него с таким участием и такой нежностью, как будто это был его родной сын.

Когда Ульрих наконец проснулся, он с удивлением и тревогой спросил, где он? После того как шут дал ему успокаивающий ответ, он попросил кусок хлеба, так как был очень голоден. До какой же степени был велик голод, это он вскоре показал на деле, принявшись за поданную ему еду. Пелликан хотел было кормить его, как маленького ребенка, но Ульрих решительно взял из его рук ложку, а шут, ухмыляясь, смотрел, как он ел, и не мешал ему в этом занятии, пока тот не насытился. Затем он принялся его расспрашивать, но таким странным образом, что у Ульриха невольно возникли подозрения.

– Ну, птенчик мой, – начал Пелликан, предвкушая под-

тверждение своих довольно смелых предположений, – что, порядком-таки тебе пришлось полетать, прежде чем ты опустился на кладбище, где мы тебя нашли? На могиле, конечно, лучше, чем в могиле, а в эммендингенской гостинице, в теплой кровати, с телятиной и кашей в желудке, без сомнения, приятней лежать, чем с пустым желудком, в снегу, на большой дороге. Ну, рассказывай, старина. Из какого ты гнезда?

– Из какого ты гнезда? – с удивлением переспросил Ульрих.

– Ну, пожалуй, из какого замка? – продолжал допытываться Пелликан. – Всякий где-нибудь да живет; а так как ты некто, а не никто, то и у тебя должен же быть дом, отец. Ну, рассказывай мне о твоём отце.

– Мой отец умер, – ответил мальчик и, вспомнив события предшествующего дня, зарылся головой под одеяло и горько заплакал.

– Вот бедняга! – пробормотал шут, рукавом отер навернувшиеся на глаза слезы и оставил Ульриха в покое, пока тот снова не высунул головы из-под одеяла; затем он опять спросил его:

– Но у тебя, конечно, есть мать?

Ульрих печально покачал головой, и Пелликан, чтобы скрыть свое волнение, состроил презабавную гримасу и сказал ласковым тоном, радуясь своей проницательности:

– Так, значит, ты круглый сирота! Да, да! Пока птенчик

находится под родительским крылышком, он не вылетает так неосторожно из родимого гнездышка в обширный мир Божий. Что же, тебе, значит, не хотелось учиться латыни в школе?

Ульрих вскочил и решительно воскликнул:

– Я не возвращусь в монастырь! Нет, ни за что!

– Так вот в чем дело! – засмеялся шут. – Тебе не давалась латынь, и деревья в лесу тебе больше по душе, чем дерево школьных скамеек! Да, верно и то, что последнее не покрывается зеленью. Боже мой! Как лицо его горит!

Он приложил руку к голове больного и, ощутив в ней жар, предпочел прекратить на этот день допрос. Он спросил только своего питомца, как его зовут.

– Ульрих, – ответил мальчик.

– А дальше?

– Оставьте меня, пожалуйста! – попросил Ульрих и снова натянул на голову одеяло.

Шут исполнил его просьбу и отворил дверь в гостиную, в которую только что постучали. В комнату вошел слуга живописца, присланный за его чемоданом, и объявил, что старый граф Гохбург пригласил Моора к себе в гости и что художник переночует в замке. Пелликану же он велел сказать, чтобы тот хорошенько смотрел за больным и в случае надобности еще раз позвал лекаря.

Час спустя шут, дрожа и ежась от холода, лежал в постели, сначала бодрствуя, а потом уснув.

Но Ульрих не мог заснуть. Сначала он потихоньку плакал, потому что только теперь ему ясно представилось, что он лишился отца и что никогда больше не увидит ни Руфи, ни доктора, ни немой Елизаветы. Затем он стал соображать, каким образом попал в Эммендинген, что это за место и кто такой этот кашляющий человек с большой головой, принявший его за рыцарского сынка. При этом он невольно улыбнулся, вспомнив, как Руфь ему однажды посоветовала превратиться с помощью таинственного «слова» в графа. Что если ему завтра объявить всем, что отец его был рыцарем?

Но он поспешил прогнать от себя эту недостойную мысль и сам себя обозвал лгуном. Отрекаться от родного отца! Фи! Какая гадость! И когда он вытянулся, чтобы снова заснуть, образ честного кузнеца как живой встал перед его глазами. Ему казалось, что он носится на облаках, с кожаной шапочкой на седеющих волосах; с этой шапочкой, так решил Ульрих, покойный не захотел расстаться и в раю.

Он сложил было руки для молитвы, но тотчас же опустил их, так как перед гостиницей раздался шум. Послышались конский топот и громкие голоса, бой барабанов и звуки труб, бряцанье сабель и тяжелые шаги целой толпы людей.

– Эй, кто там? – раздался чей-то голос. – Комнату для войскового писаря и казначея!

– Тише, тише, ребята, – увещевал начальник стражи, – в такой великий праздник благочестивому воину не следует шуметь; ну а выпить стаканчик, слава Богу, можно. Вашему

дому, хозяин, оказывается великая честь; здесь будет произведена вербовка солдат в войско многоуважаемого начальника, графа фон Оберштейна. Слушайте: за все будет заплачено наличными деньгами, и ни одна курица не пропадет; но вино должно быть хорошее. Поняли? Итак, для начала – бочонок лучшего; виноват, ребята, я хотел сказать – самого лучшего.

Ульрих услышал затем, как растворилась дверь гостиной, и солдаты шумной толпой вошли в комнату.

Шут раскашлялся и стал жаловаться на то, что ему не дают спать; Ульрих же уставился заблестевшими глазами на неплотно притворенную дверь, сквозь которую он мог слышать все, что происходило в соседней комнате.

Вместе с войсковым писарем и казначеем в гостиную вошли барабанщик и трубач, которые должны были объявить завтра по всему городу о вербовке, и, кроме того, двенадцать солдат, лихих и бравых ребят. Как только они вошли в комнату, раздались возгласы радости и удивления, и до слуха Ульриха не раз донеслось имя Ганса Эйтельфрица. Он слышал, каким сердечным тоном начальник отряда приветствовал их раненого спутника: оказалось, что они целых пять лет прослужили в одном взводе.

Ульрих не мог ясно различить, что говорилось в гостиной, но он отлично расслышал, как Ганс Эйтельфриц из Кёльна на Шпрее просил записать его первым в список завербовавшихся; он слышал так же, как начальник отряда спокой-

но и ласково ответил на возражения писаря: «Ничего, ничего, пишите. Этот парень с одной рукой стоит больше десяти ворчунов с двумя руками. Это веселый и хороший малый. Да, и дайте ему, кстати, задаток, потому что он, без сомнения, кое в чем нуждается для своей экипировки».

Тем временем бочка с вином была, очевидно, откупорена, потому что раздался звон стаканов, а вскоре после того гости затянули песню. Когда же солдаты затянули вторую песню, Ульрих уснул; но часа два спустя проснулся от наступившей внезапно тишины.

Ганс Эйтельфриц вызвался спеть новую песню, и начальник попросил всех не шуметь. Ганс запел, а Ульрих, прислушиваясь к его пению, сел в своей постели и не пропустил ни единого слова ни из самой песни, ни из рефрена, который присутствовавшие повторяли хором, чокаясь стаканами. Таких смелых, веселых голосов Ульрих еще никогда не слышал. Уже при второй строфе сердце его радостно забилось, и ему захотелось вторить пению, мотив которого он живо схватил. Вот что пели солдаты.

Какое веселье! Чу! бьют барабаны!

Чу! трубы трубят – и в поход я стремлюсь.

Прочь молот и перья, прочь дом и семейство!

Вперед – там поищем мы счастья!

* * *

Не плачь, мой родитель, и матушка тоже
С сестренкой-востренкой – не плачьте.
Расстаться нам должно, в мир Божий пойду я,
Где, знаю я, ждет меня счастье.

* * *

Там пушки грохочут, мечи там блистают,
Рука поднята для удара.
Лишь в ратном строю, лишь в боях и сраженьях,
Лишь там обретается счастье.

* * *

Вот город уж взят, поделили добычу,
И я получил свою долю.
Златое запястье отдам чернобровой
Девнице – и ждет меня счастье.

* * *

Не ждет меня старость, не ждут и болезни.
Не ждут костыли и больница.
Умру я героем на поле сраженья –
Ведь в этом, друзья, тоже счастье.

* * *

Сложил эту песенку скромный вояка
Ганс Эйтельфриц, родом из Люкке,
Там юность провел он,
И там – там изведал он счастье.

«И там – там изведал он счастье», – подпевал Ульрих. В то время как в соседней комнате раздавался веселый звон стаканов, он повторял: «счастье, счастье». И вдруг на него нашло точно какое-то вдохновение: «Счастье! Не это ли то таинственное слово?» Никогда еще ни одно слово не казалось ему таким радостным, окрыляющим душу человека, как слово «счастье», которое только что так весело и бодро пропел молодой солдат.

– Счастье! Счастье! – громко воскликнул он.

Шут, который больше не смог уснуть и ворочался на своем ложе, улыбнулся, приподнялся и сказал:

– Это слово тебе нравится? Тому, кто сумеет поймать счастье, когда оно пролетает, все на свете удается. С берез и ив срезают прутья для розог – ты знаешь, чик, чик, но для того кто счастлив, на них растут пироги и колбасы. Один поворот колеса фортуны – и тот, кто был внизу, мигом очутится наверху. Ну а теперь повернись-ка к стене и спи. Завтра ведь тоже еще праздник, и, быть может, судьба подарит тебе на елку счастье.

Ульрих, по-видимому, не тщетно призывал счастье: едва закрыв глаза, он перенесся во сне в старую кузницу на рынке, и его матушка стояла возле зажженной елки и указывала ему рукой на новую голубую куртку, сшитую ею для него, на яблоки и орехи, и на лошадку, и на паяца с круглой головой, большими и плоскими угловатыми ногами. Он признавал, что уже вырос для игрушек, которыми забавляются маленькие дети, но все же они радовали его. Затем картина менялась: он снова видел свою мать, но на этот раз она гуляла вместе с ангелами в раю. На ее золотистых волосах блистал королевский венец, и она сказала, что имеет право носить его здесь, потому что на Земле ее так много оскорбляли и огорчали.

Когда живописец возвратился на другое утро из замка, он немало удивился, увидев Ульриха веселым и здоровым перед столом вербовщиков. Мальчик раскраснелся от стыда

и досады, потому что войсковой писарь и казначей только что жестоко насмеялись над ним, когда он выразил желание записаться в солдаты.

Узнав, в чем дело, Моор позвал Ульриха с собой гулять. Без упреков и насмешек он объяснил ему, что он еще слишком молод для военной службы, и после того как мальчик подтвердил ему все, что он узнал уже о нем от шута, художник спросил, кто учил его рисованию.

– Мой отец, а затем отец Лука в монастыре, – ответил Ульрих. – Но только, пожалуйста, не спрашивайте меня, как вчера вечером тот маленький господин.

– Нет, нет, будь спокоен, – заверил Моор. – Но кое-что я все-таки хотел бы узнать от тебя. Что, отец твой был живописцем?

– Нет, – пробормотал мальчик и запнулся. Но, встретив ласковый взор Моора, он быстро оправился и прибавил: – Отец умел немного рисовать, потому что выковывал красивые, изящные вещи.

– А в каком же городе вы жили?

– Ни в каком. Мы жили в лесу.

– Вот как! – заметил живописец и улыбнулся, он знал, что бедность заставляла многих рыцарей заниматься каким-нибудь ремеслом, которого они, однако, в душе стыдились. – Ну, ответь мне еще только на два вопроса, и затем я оставлю тебя в покое до тех пор, пока ты добровольно не расскажешь мне о себе. Как тебя зовут?

– Ульрих.

– Это я знаю, а отца твоего?

– Адам.

– Адам – это его имя. А как же его фамилия?

Мальчик молча опустил глаза в землю, так как у кузнеца не было никакого фамильного прозвища.

– Ну, ладно! – сказал Моор. – Так мы тебя пока будем называть просто Ульрихом; довольно и этого. И у тебя никого нет родных? Тебя никто не ждет дома?

– Нет, никто. Мы с отцом жили вдвоем.

Моор пристально посмотрел в лицо мальчику, затем ласково кивнул и сказал, положив руку на кудри Ульриха:

– Ну, посмотри на меня хорошенько. Я – живописец, и если ты хочешь научиться этому искусству, то я возьму тебя к себе в учение.

Мальчик испустил радостный крик и захлопал в ладоши.

– Ну и отлично, – продолжал живописец. – Во время пути нечего и думать об учении, но в Мадриде я засажу тебя за работу. Мы едем теперь к королю Филиппу, в Испанию.

– Испания, Португалия! – прошептал Ульрих с блестящими от радости глазами, и все, что он слышал в семействе доктора об этих странах, живо припомнилось ему в эту минуту.

«Счастье, счастье! – думал он. – Вот оно, вот это „слово“!» – Оно уже теперь производило на него свое чарующее действие, а в будущем он ожидал от него гораздо большего.

Еще в тот же день они выехали в Раппольтштейн, в Верх-

нем Эльзасе, к графству Раппольтштейнскому, и на этот раз Ульриху уже не пришлось бежать пешком или лежать в душевной повозке с поклажей, ему позволили сесть на коня. Провожали их не простые наемники, а сам граф Гохбергский со своей свитой, так как Моор обещал написать портрет его дочери, которая была обручена с графом Раппольтштейнским. Это был драгоценный праздничный подарок, который граф решил сделать себе и своей жене.

Багажная повозка стояла тут же, но в ней на этот раз никого не было, так как шут уместился рядом с возницей, солдат остался со своими товарищами, а монахам путь лежал во Фрейбург, и поэтому они не могли далее пользоваться любезностью Моора. Они по этому поводу ворчали и сердились, как будто им нанесена была тяжкая обида, и если магистр Сутор при прощании захотел протянуть художнику руку, то Штубенраух счел своим долгом повернуться к этому доброму человеку спиной.

Обиженная парочка удалилась весьма недовольная; но зимнее солнце тем не менее ярко светило с безоблачного неба, и Божий мир казался Ульриху таким прекрасным, что он совершенно забыл о своем горе и весело размахивал своей шапочкой, отвечая на дружеский поклон недавнего своего спутника-солдата.

По дороге они обогнали многих пеших и конных странников, направлявшихся в Раппольтштейн для принесения своих поздравлений старому графу. Графы Раппольтштейнские

считались покровителями дудочников, странствующих музыкантов и певцов на всем Верхнем Рейне. В прежние времена эти «птички певчие» имели обыкновение собираться к восьмому сентября перед замком своего покровителя, вносить ему свою небольшую подать и получать от него обильное угощение; но в нынешнем году это установленное обычаем празднество было отложено до третьего дня Рождества, вследствие господствовавшей осенью в тех местах моровой язвы. По мнению же Ульриха, все это устроилось так благодаря его «счастью».

Вот-то наслушался он музыки и пения! Скрипки и лютни, флейты и валторны не умолкали. Одна серенада сменяла другую, и даже за столом каждое блюдо сопровождалось новой песней. Слов нет – и вкусное жаркое, и сладкое пирожное, и золотистое рейнское вино пришились как нельзя более по вкусу сыну кузнеца, не привыкшему к таким пиршествам; но еще более нравилась ему музыка. Ему казалось, что он перенесен на небо, и он все менее и менее думал о выпавшем на его долю горе.

Счастье раскрыло над ним рог изобилия и с каждым днем осыпало его новыми дарами.

Он как-то упомянул в разговоре с шталмейстером графа о своем умении справляться с норовистыми лошадьми, и, по прохождении соответствующего испытания, ему дозволено было объезжать самых горячих жеребцов на замковом дворе в присутствии старого и молодого графа и кра-

савиц-графинь. Его за это осыпали похвалами и подарками. Не одна нежная ручка гладила его по локонам, и при этом Ульриху каждый раз казалось, что ему больше ничего не остается желать от своего «слова».

Однажды Моор отвел мальчика в сторону и сообщил, что уже начал писать портрет молодого графа Раппольтштейнского; но так как молодой человек сломал себе ногу, упав с лошади, и так как Ульрих годами и ростом походил на графа, то Моор решил воспользоваться Ульрихом как натурой, одев его в платье оригинала.

И вот сына кузнеца одели в лучшее платье его сверстника. Оно все было черное, но каждая вещь из иной материи: чулки шелковые, панталоны атласные, а кафтан – из лучшего фландрского бархата. Оранжевые обшлага и лацканы красиво выделялись на темном фоне; банты на панталонах и на башмаках тоже были оранжевые. Тонкие брюссельские кружева обрамляли шею и кисти рук, а бархатный берет был украшен черно-желтыми перьями, схваченными бриллиантовым аграфом.

Великолепный наряд как нельзя более подходил Ульриху, и он отлично заметил, как старые и молодые подталкивали друг друга при виде его в этом костюме. В нем невольно заговорило неведомое ему доселе чувство – тщеславие, и он очень скоро отыскал путь к большому венецианскому зеркалу в парадной гостиной. В этом совершенно не знакомом ему до сих пор полированном стекле он в первый раз увидел свое

изображение, и образ, который отразило стекло, понравился ему и польстил его самолюбию.

Но особое удовольствие находил он в том, чтобы следить во время сеансов за направлением глаз и за движением рук живописца. Он вскоре решил в своем уме, что в сравнении с этим художником монастырский отец Лука – жалкий мазилка. Моор как будто вырастал во время работы, фигура его выпрямлялась, грудь выдавалась вперед, его добрые глаза становились строгими, даже страшными. Хотя сеансы проходили в глубоком молчании, они все же казались Ульриху слишком короткими. Он не шевелился, потому что ему казалось, что всякое его движение может нарушить священнодействие, свидетелем которого ему довелось быть; и когда он во время перерывов смотрел на полотно и убеждался, как быстро подвигается вперед труд художника, ему казалось, что он на своих собственных глазах возрождается к новой, лучшей жизни.

В столовой висел портрет молодого принца Наваррского, которому один из Раппольтштейнов спас на охоте жизнь. Ульрих был поразительно похож на него в своем графском костюме. Шут первый обратил внимание на это обстоятельство. Все согласились с ним, не исключая и Моора, и, таким образом, Пелликан с тех пор стал называть своего друга не иначе как Наваррете. Мальчику это имя понравилось.

Вообще ему здесь все нравилось, и он был вполне счастлив. Только по ночам ему, бывало, по временам взгрустнет-

ся, при мысли о том, что он так счастлив, между тем как его отец убит, а он сам лишился и своей матери, и Руфи, которые его любили и которых он любил.

XIII

Ульрих спал в одной комнате с шутом. Когда по ночам Пелликан лежал в испарине и опасался в это время встать с постели, хотя часто ему было необходимо то то, то другое, он в таких случаях будил Ульриха, и мальчик всегда был готов служить ему. Это продолжалось и тогда, когда наши путники уехали от графа Раппольтштейнского, и когда болезнь бедного шута все более и более усугублялась.

Граф подарил Ульриху молодую резвую лошадь, так что он продолжал дальнейший путь уже не в душной повозке, а верхом, что доставляло ему величайшее наслаждение. Шут, который все более привязывался к мальчику, в теплую погоду выползал из повозки, усаживался рядом с кучером и давал Ульриху разные полезные объяснения. Он много странствовал, многое видел, но быть в его словах постоянно перемешивалась с вымыслом. Так, например, когда они проезжали как-то мимо березовой рощи, он спросил мальчика, знает ли он, почему стволы этого дерева белы, и затем рассказал ему одно предание.

Когда Орфей так божественно играл на своей лютне, все деревья сбежались, чтобы послушать его игру. Собралась и береза, но так как она была очень тщеславна, то захотела надеть белое платье, чтобы отличаться от других. Она за этим так долго промешкалась, что, когда наконец яви-

лась, то музыкант уже ушел, и потому она с тех пор ни зимой, ни летом не снимает белого платья, чтобы всегда быть готовой, когда вернется Орфей со своей лютней.

Проезжая сосновым лесом, они увидели на суку дерева щура, и по этому поводу щур рассказал, будто прежде эта птичка была сплошь серого цвета и имела прямой клюв, как у воробья. Когда Спаситель мучился на кресте, то щур сжалился над Ним и попробовал своим клювом вынуть гвоздь из Его руки. В воспоминание о том Господь Бог дал ему скрещенный клюв, а то место его груди, куда капнула кровь Спасителя, окрасилось в красный цвет. Кроме того, в отличие от других птиц, Господь повелел щуру высиживать птенцов зимой и дал ему чудесную силу исцелять больных лихорадкой.

Однажды над их головами пролетела стая диких гусей, и Пелликан воскликнул:

– Посмотри-ка, они всегда летят попарно и при этом образуют какую-нибудь букву азбуки. На этот раз они образовали букву «А». Видишь? Это происходит от того, что, когда Господь Бог начертал на горе Синае заповеди, пролетело стадо гусей, и при этом одна из них крылом своим стерла одну из букв. За то Господь велел им летать всегда в форме буквы, а потомки их, то есть все гуси, обречены на то, что люди выдергивают у них из крыльев перья, для того чтобы писать.

На ночлегах Пелликан не переставал беседовать с Ульрихом. Он постоянно называл его Наваррете, и Моор повторял

за ним это имя, когда был в хорошем расположении духа. К живописцу Ульрих неизменно относился с величайшим почтением; шут же был для него добрым товарищем, к которому он питал полнейшее доверие.

Из некоторых намеков и шуток следовало, что Пелликан все еще считал Ульриха сыном какого-либо рыцаря, и это было невыносимо для мальчика. Поэтому однажды вечером, когда оба они улеглись в постель, он собрался с духом и сообщил своему приятелю все, что он сам знал о своем прошлом. Шут внимательно слушал и не прерывал его до тех пор, пока он не закончил. «И в мое отсутствие, – так заключил Ульрих свой рассказ, – гончие напали на след, налетела погоня, мой отец стал обороняться, и тогда они убили его и доктора».

– Вот как, – пробормотал Пелликан. – Жаль Косту. Для иного христианина не стыдно было бы походить на еврея. То, что человек рождается евреем и не может есть свинины, – не более как случайность. Нельзя преследовать человека за то, что у него горбатый нос. Вот в Спарте, например, меня бросили бы в пропасть за мою уродливую голову и за мою кривоногость. Ныне же люди более милосердны, и калек оставляют жить. Бог читает в сердцах людей, но люди внешность ставят выше внутреннего содержания. Если бы голова моя была поменьше, а какой-нибудь добрый ангел выпрямил мне плечо, то я теперь, может быть, был бы кардиналом, и одевался бы в красную мантию, и ехал бы не в жалкой

повозке, а в золотой карете, запряженной откормленными воронными жеребцами. Тебя природа не обезобразила, но зато судьба не наградила земными благами... Так, значит, отца твоего зовут Адамом и у него нет никакого другого прозвища?

– Нет, никакого.

– Ну, этого маловато. Отныне мы будем звать тебя уже всерьез Наваррете. Что же тебе, в самом деле болтаться по свету с половинкой имени? Имя – это то же, что платье: если снять с тебя одну половину платья, то тебе придется бегать полуголым и сделаться всеобщим посмешищем. Вот, например, моего отца называли Киршнер. Но в латинской школе я сидел подле разных Олеариев, Лусциниусов и Фаберов, и таким образом и я возвысился до звания римского дворянина и из Киршнера сделался Пелликаном.

Шут откашлялся и затем продолжал:

– И вот еще что. Ожидать благодарности – глупо, потому что в девяти случаях из десяти ничего не дождешься. Тот, кто умен, думает только о себе и вообще не добивается благодарности других. Но быть самому благодарным должен всякий, потому что неприятно иметь врагов, а никого мы не способны ненавидеть более, чем благодетеля, которому мы отплачиваем неблагодарностью. Ты должен, ты обязан рассказать нашему общему благодетелю твою историю, потому что он заслужил твое доверие.

Ульриху рассуждения шута, в котором эгоизм постоян-

но выставлялся величайшей добродетелью, порой казались весьма странными, но все же кое-какие рассуждения Пелликана запечатлилось в его молодой душе. Он на другое же утро последовал его совету, и ему не пришлось раскаиваться в этом, потому что отныне Моор стал относиться к нему даже теплее прежнего.

Шут намеревался отделиться в Авиньоне от своих спутников, чтобы отправиться в Марсель, а оттуда морем в Савону. Но, еще прежде чем он достиг древней резиденции, он почувствовал себя столь слабым, что Моор потерял даже надежду довести его живым до цели его путешествия. Тело этого и без того небольшого человечка как-то все более и более съеживалось, а на отвислых, земляного цвета щеках его появились два зловещих красных пятна.

Иногда Пелликан рассказывал своим спутникам печальную историю своей жизни. Он предназначал себя для духовного звания, но, хотя отлично учился в школе, у него отняли всякую надежду на посвящение в сан, так как церкви, мол, не нужно калек. Он был сыном очень бедных родителей и с трудом кое-как перебивался, будучи студентом. «Если бы вы знали, – вздыхал он, – до какой степени была потерта моя студенческая шапочка! А я ведь такой маленький, что всякий, глядя на меня сверху, отлично мог рассмотреть потертый бархат на ее тулье. А как часто я питался одним только хлебом, приправляя его лишь запахом вкусного жареного, предназначавшегося для других! Разве что иногда мой

умный пудель отправлялся на фуражировку и приносил мне украденную им у мясника колбаску».

Впрочем, иногда для бедняги выдавались лучшие времена, и тогда он сидел в пивных, трунил над всем и всеми и давал волю своему острому язычку. Однажды один из прежних собутыльников пригласил его отправиться вместе с ним в графский замок своего отца, чтобы развеселить больного старика, и таким образом случилось, что он сделался шутком по профессии, переходя от одного вельможи к другому, пока наконец не попал ко двору кёльнского курфюрста. Он притворялся, будто презирает мир и ненавидит людей, но, в сущности, был восприимчив ко всему прекрасному и в душе любил своих ближних.

Когда Моор однажды заметил ему это, шут с улыбкой сказал:

– Что ж делать? Видите ли, тот, кто порицает, чувствует себя выше того, кого он порицает. Сколько есть таких шутов, которые воображают себя великими только потому, что становятся на цыпочки и находят недостатки даже в творении Божьем. «Мир никуда не годится», – глубокомысленно говорит иной мудрец, а другой слушает его и думает: «Вот так молодец! Он бы лучше создал мир, чем Господь Бог!..» Предоставьте мне потешаться по-своему. Я человек маленький, но люблю ставить вещи на широкую ногу. Находить недостатки в отдельном человеке, по-моему, не стоит труда; но говоря обо всем человечестве, о необъятном ми-

ре, можно невесть как разевать глотку. Однажды Пелликан воспылал страстью к прекрасной девице, но она насмеялась над ним и вышла замуж за другого. Впоследствии она овдовела и впала в крайнюю нищету. Он помог ей своими сбережениями и затем помог еще раз, когда второй негодяй, за которого она вышла замуж, промотал все ее добро до последней нитки.

В жизни его случалось немало подобных казусов. При всем, что делал малютка, он повиновался влечению своего сердца; он говорил то, что думал, и одна только правда казалась ему разумной. Ему доставляло величайшее наслаждение бескорыстное великодушие. Это была единственная его потребность, единственная роскошь, которую он позволял себе; но тем не менее других из тех, кому он желал добра, он предостерегал от такого неразумия.

В длинном бледном лице Пелликана таилось что-то жесткое, резкое и напряженное, и тот, кто видел шута в первый раз, легко мог принять его за злого, желчного человека. Он сам это отлично сознавал, и ему доставляло большое удовольствие пугать слуг и служанок в пивных и на постоянных дворах своими гримасами; он не раз хвалился тем, что мог сделать своим лицом девяносто пять гримас.

По приезде в Авиньон Пелликан был особенно весел. Он чувствовал себя здесь здоровее, чем за все последнее время, и уже взял себе место в повозке, отправлявшейся в Марсель. Вечером накануне отъезда он с восторгом опи-

сывал прелести Лигурийского берега и говорил о будущем так, как будто был уверен в полном выздоровлении и в долговечности.

Ночью Ульрих, проснувшись, услышал, что бедняга стонет громче обычного. Он вскочил и приподнял его с подушек, как делал это обыкновенно, когда малютка задыхался. Но на этот раз Пелликан не ругался и не проклинал свою болезнь, а был совершенно тих; когда же тяжелая голова шута упала, подобно тыкве, на грудь мальчика, тот испугался и побежал за художником. Моор не замедлил прийти, и, когда он поднес зажженную свечку к лицу умирающего, тот раскрыл глаза и состроил три разные гримасы подряд. Это было очень смешно, но еще более печально. Должно быть, Пелликан подметил опечаленный взор живописца, потому что попытался кивнуть ему головой, как бы в знак благодарности. Но голова была слишком тяжела, а силы слишком ничтожны, и он успел только слегка повернуть голову сначала немного влево, а потом вправо; зато взгляд его выразил все, что он желал сказать.

Так прошло несколько минут. Затем Пелликан улыбнулся и проскандировал с грустью во взоре, но все же с привычной улыбкой на устах, наполовину по-латыни, наполовину по-немецки:

«И скоро спокоен и нем будет тот, кто жалким шутком был».

И он прибавил таким тихим голосом, как будто каждый

звук выходил не из груди, а только с губ:

– Понял, Наваррете, Ульрих Наваррете? Ведь я научил тебя латыни, а? Дай руку, малый. И вы, дорогой, дорогой господин. Моор. Эфиопы... чернокнижие...

Хрипение не дало ему закончить бессвязной фразы, и глаза его сделались точно стеклянные. Но прошло еще несколько часов, прежде чем он испустил последний вздох.

Явился священник, чтобы соборовать его, но сознание уже не возвращалось к нему. После того как священник ушел, Пелликан продолжал шевелить губами, но никто не мог понять, что он говорил. Только когда наступил день, и яркое южное солнце облило ярким светом не только комнату, но и постель его, он закинул руки за голову и полупроговорил, полупропел на мотив Ганса Эйтельфрица:

И в счастье, и в счастье...

Несколько минут спустя его не стало.

Моор закрыл ему глаза, а Ульрих со слезами опустился на колени подле кровати и поцеловал уже холодеющую руку бедного друга.

Когда он приподнялся, то увидел, что художник с грустью смотрел на неподвижное, а между тем еще так недавно искажавшееся гримасами лицо шута. Ульрих тоже взглянул на это лицо и обомлел: резкие, вечно подергивающиеся, порою даже злые черты совершенно преобразились; он увидел добродушное, спокойное лицо человека, уснувшего с самыми приятными воспоминаниями в душе.

XIV

Ульриху впервые доводилось присутствовать при смерти человека.

Как часто он смеялся над шутком, как часто слова Пелликана казались ему смешными, вздорными и даже неприличными! Но этот же человек после смерти внушал ему почтение, и представление о смерти старика произвело на него гораздо более сильное и трагичное впечатление, чем даже предполагаемая кончина отца. До сих пор он мог представить его только живым, иным воображение никак его не рисовало, теперь же он часто мысленно видел отца вытянувшимся во весь свой громадный рост, бледным и с такими же неподвижными, стеклянными глазами, какие он видел у только что скончавшегося Пелликана.

Моор был человеком вообще молчаливым. Он умел говорить скорее красками и линиями, чем словами; он оживлялся и становился даже красноречив только тогда, когда разговор касался предмета, близко соприкасавшегося с искусством.

В Тулузе он купил трех лошадей и нанял столько же слуг-французов. Он заходил также к ювелиру и сделал у него значительные покупки. Возвратившись в гостиницу, он разложил купленные им цепочки и колечки по пяти изящным футлярам и своим красивым почерком сделал на них следующие

щие надписи:

«Елене, Анне, Микелле, Европе, Лучии» – на каждом из футляров по одному имени.

Ульрих, стоявший подле художника, заметил ему, что ведь его дети зовутся не этими именами. Моор вскинул на него глаза и ответил, улыбаясь:

– Это вовсе не для моих детей, а для молодых художниц, моих учениц; их шесть сестер, и я каждую из них люблю, как свою родную дочь. Мы, надеюсь, застанем их в Мадриде, а одну из них, Софронизбу, во всяком случае.

– Да ведь здесь только пять футляров, – заметил Ульрих, – да вы и ни на одном из них не написали имени Софронизбы.

– Для той я предназначаю нечто лучшее, – усмехнувшись, ответил художник. – Мой автопортрет, который я начал писать еще вчера, предназначается для нее, и он будет окончен еще здесь. Поддай-ка мне зеркало, кисть и краски.

Автопортрет действительно оказался безукоризненно хорош. Высокий, благородный лоб, маленькие, но умные и ясные глаза, энергичный рот, осененный небольшими усами и точно собирающийся вот-вот произнести несколько ласковых слов – все это было поразительно схоже с оригиналом. Клинообразная борода красиво оттенялась на белоснежном жабо, как будто только что вышедшем из-под утюга прачки.

И как верно и быстро художник водил кистью!

Ульриха чрезвычайно заинтересовала загадочная Софронизба, для которой Моор предназначал такой подарок. А тут

еще пять ее сестер! Ульрих с нетерпением ждал минуты, когда они наконец приедут в Мадрид.

В Байоне Моор оставил свою карету; весь багаж навьючили на мулов, и наконец караван тронулся в путь. Ульрих как-то выразил удивление по поводу столь значительных расходов, которые вызвало их путешествие. На это Моор, улыбаясь, ответил: «Покойный Пелликан говаривал: „С волками жить – по волчьи выть“. Мы въезжаем в Испанию гостями короля Филиппа, а придворные вообще близоруки и замечают только то, что бросается в глаза».

В Фуэнтарабии, первом испанском городе, через который они проезжали, художник был встречен с большим почетом, и отсюда до Мадрида его постоянно сопровождал почетный конный эскорт.

Моор в третий раз приезжал в столицу Испании как гость короля Филиппа, и его приняли там с таким почетом, какой обыкновенно оказывается лишь высокопоставленным лицам. Ему отведено было прежнее его помещение в Алькаzare, дворце королей Кастилии. Оно состояло из великолепной мастерской и целого ряда комнат, которые, по особому повелению короля, были отделаны для него с царской роскошью.

Удивлению Ульриха не было границ. Как ничтожно, как жалко казалось ему все, что еще так недавно поражало и восхищало его в замке графа Раппольтштейна!

В первые дни по их приезде приемная Моора походила

на пчелиный улей. Вся местная знать, все светские и духовные вельможи города Мадрида толкались в ней беспорядочной толпой; пажи и камер-лакеи приносили букеты, корзины с фруктами и разные другие подарки. Все, кто имел хоть малейшее соприкосновение с двором, отлично знали, как благоволил к даровитому художнику король Филипп, и потому спешили снискать благорасположение Моора разными подарками и изъявлениями своей преданности. Ежеминутно Ульриху случалось видеть что-нибудь новое, замечательное, выдающееся – но более всего он удивлялся своему патрону.

Этот добрый, простой человек, который во время пути так ласково и мило обращался с беднягой, поднятым им на большой дороге, с хозяйкой корчмы, в которую ему пришлось завернуть с конвоирами, исполнявшими лишь по приказу начальства свою службу, – этот человек здесь совершенно преобразился. Правда, он по-прежнему носил только черные цвета, но его черный костюм был уже не суконный, как прежде, а шелковый и атласный, и из-под белоснежного жабо свешивались на грудь две высочайше пожалованные Моору золотые цепи. С самыми сильными мира сего живописец держался так, как будто оказывал им высочайшую честь, принимая их у себя, и как будто он самый недоступный человек в мире.

На другой же день по прибытии Моору дали аудиенцию король Филипп и его супруга, Изабелла де Валуа¹⁶, и украси-

¹⁶ Изабелла (Елизавета) де Валуа (1545–1568) – третья жена Филиппа II.

ли его и без того уже достаточно разукрашенную грудь драгоценной золотой цепью. Это дало Ульриху случай увидеть короля, поскольку ему пришлось в костюме пажа нести ту картину, которую знаменитый художник привез в подарок своему царственному покровителю.

Войдя в громадную аудиенц-залу, они увидели Филиппа, сидящего неподвижно на своем кресле и смотревшего рассеянным взором в пространство; казалось, что все, кто здесь собрались, вовсе не существуют для него. Он откинул голову назад, и его туго накрахмаленное жабо от этого порядком измялось. Красивой белокурой голове Филиппа как бы какой-то неведомой силой был придан вид безжизненной маски. Углы губ и ноздри несколько сжались, как будто обладателю их казалось недостойным дышать тем же воздухом, каким дышат обыкновенные смертные.

Лицо Филиппа неподвижно оставалось в таком положении во все время, пока он принимал папского легата и послов Венецианской республики. Но когда церемониймейстер представил ему Моора, легко можно было заметить под пушистыми, зачесанными книзу усами и вокруг коротко остриженной бородки легкую улыбку; в то же время тусклые глаза Филиппа несколько оживились.

На следующий день после приема в мастерской Моора

Заклученный ради скрепления мира между Испанией и Францией этот брак для 15-летней французской принцессы был несчастным: она не любила и боялась мужа. Ходили слухи, что виновником ее внезапной преждевременной смерти является Филипп.

раздался какой-то особенный звонок. Из мастерской немедленно были удалены все случайно находившиеся в ней лица, потому что этот особенный звонок возвестил о прибытии короля, который действительно через несколько минут явился в мастерскую знаменитого художника и пробыл у него целых два часа.

Такие признаки благоволения в состоянии были бы вскрыть более слабую голову, чем такую, какой природа наделила Моора. Но он весьма равнодушно принимал их и, оказавшись втроем с Софронизбой и Ульрихом, остался все тем же простым и добрым человеком, как в Эммендингене и в Южной Франции.

Неделю спустя после переезда художника на новую квартиру, его лакеи получили предписание не допускать к живописцу Моору никого, решительно никого, ни мужчин, ни женщин, ни знатных, ни неизвестных, объявляя всем, что, мол, господин Моор работает для его величества короля Филиппа.

Сделано было только одно исключение: для Софронизбы Ангвишола Моор всегда был дома. По возвращении из путешествия он встретил эту редкую девушку, как отец встречает свое любимое дитя.

Ульриху пришлось присутствовать при том, как Моор вручил ей автопортрет. Он видел, как Софронизба, обуреваемая чувством радости и благодарности, закрыла лицо руками и разразилась громкими рыданиями.

Молодая уроженка Кремоны, Софронизба приехала в Мадрид¹⁷, во время первого пребывания Моора в столице Испании, вместе со своим отцом и пятью сестрами; она надеялась, предстодившись королю, найти средства для содержания себя и своих пятерых сестер.

Старый дворянин Ангвишола был потомок древнего рода, легкомысленно промотавший значительное отцовское состояние и продолжавший жить, как он сам выражался, «в надежде на милость Божью». Он проигрывал и прокучивал с легкомысленными приятелями большую часть заработка своей старшей дочери, рассчитывая при том на несомненные признаки таланта, обнаружившиеся и у младших, в чем он опять-таки видел особенную «милость Божью». Умный веселый итальянец всюду был желанным гостем, и в то самое время, когда Софронизба неустанно работала с раннего утра и до позднего вечера, терзаясь порой тяжким раздумьем о том, как сколько-нибудь прилично одеть себя и своих сестер и как им всем прокормиться, он проводил время в пиршествах и в веселии. Софронизба, однако, сохраняла унаследованную от отца уверенность в судьбе и в то же время сумела не сделаться ремесленницей искусства и не выпускать на свет Божий ничего такого, чего бы она не признала достойным себя и своего учителя.

Моор долгое время молча наблюдал за ней, затем он про-

¹⁷ Софронизба Ангвишола была приглашена к испанскому двору в 1559 году по рекомендации герцога Альбы.

сил ее работать в его мастерской и позволить ему помогать ей своим советом и руководством. Таким образом она сделалась его ученицей, а затем и его другом. Вскоре они дошли до того, что между ними не стало места каким-либо тайнам, а то, что она сообщала ему о своей семейной обстановке, трогало его и все более и более сближало их.

Отец Софронизбы благословлял случай и охотно согласился оказать Моору приятельскую услугу, когда тот предложил ему поселиться со своими дочерьми в только что купленном им доме, для того чтобы тот не оставался пустым; а когда знаменитый художник выхлопотал у короля стипендию для Софронизбы, старый дворянин не замедлил завести себе вторую верховую лошадь. Софронизба была до глубины души благодарна своему учителю за все эти благодеяния, но она полюбила его и помимо их. Постоянное общение с ним – вот что было ей необходимо. Быть возле него, писать, беседовать с ним об искусстве, об его задачах, средствах и целях – вот что составляло ее наслаждение. Исполнив свои обязанности при королеве, она отдавалась влечению своего сердца и спешила к любимому, обожаемому художнику, и каждый раз, когда она уходила от него, ей казалось, что она была в церкви и омыла свою грешную душу в живом и свежем источнике.

Моор надеялся застать и ее сестер в Мадриде; но отец увез их с собой в Италию. Его «надежда на Бога» не оказалась тщетной, так как ему досталось весьма приличное наслед-

ство.

Значит, ему больше нечего было делать в Мадриде. Забавлять и смешить чопорных, напыщенных испанцев? Нет, в этом он не находил ничего веселого. Гораздо лучше пировать и веселиться на родине, в подходящей компании.

Софронизба была хорошо пристроена, и у красивой, веселой, пользовавшейся безупречной репутацией фрейлины королевы Испании не было недостатка в воздыхателях. Отец Софронизбы позволил себе, не справившись с желаниями и видами на будущее дочери, подать некоторую надежду на ее руку богатейшему и знатнейшему из этих воздыхателей. «Возьмите крепость; если она сдастся – она ваша», – сказал он. Но крепость оказалась, по-видимому, неприступной, несмотря на то, что осаждающий привел в виде надежного вспомогательного войска свое знатное рыцарское происхождение, свою безупречную репутацию, свое незапятнанное имя, красивую, мужественную, подкупающую наружность и значительное состояние.

Ульрих чувствовал себя несколько разочарованным, не найдя в Мадриде пяти молодых девушек, встретить которых мечтал, полагая, что было бы недурно, если бы рядом оказались пять хорошеньких товарищей по искусству.

В мастерской Моора имелась маленькая, отделенная от нее тяжелым ковром и примыкавшая к потайной лестнице комната. В этой комнате для Ульриха был устроен рабочий стол с соответствующим освещением, такой большой,

что за ним легко могли бы работать человек пять. Моор велел ему срисовывать с пластических моделей, а в последних не было недостатка в Альказаре: здесь был флигель, выстроенный в виде трехэтажной башни, в которую охотно удалялся король Испании Филипп в минуты, когда он, утомившись придворным этикетом и государственными делами, отдавался единственному чистому влечению своего отравленного сердца и восхищался благородными произведениями искусства.

В круглой зале, в нижнем этаже квартиры художника, сохранялись в изящных шкафах орехового дерева многочисленные аланы, эскизы, рисунки, художественные изделия. Над этой со вкусом обставленной комнатой находилась библиотека, а в третьем этаже – большая зала, вмещавшая в себя лучшие произведения Тициана.

Неугомонный политик Филипп столь же ревностно заботился о том, чтобы приобретать и собирать новые и прекрасные произведения художников, как и о том, чтобы поддерживать и возвеличивать свою власть и власть церкви. Но эти сокровища тщательно сохранялись и никому не были доступны, кроме него и его любимых художников.

Филипп Второй существовал только для одного себя. До других ему не было дела. Весьма понятно поэтому, что этим другим, по его мнению, нечего было наслаждаться тем, чем наслаждался он. Если для него, помимо церкви, что-либо возвышалось над общим ничтожеством, то это был

художник, и потому он позволял ему то, чего не позволял другим.

Моор был любимцем короля. Нередко он призывал его к себе в зал Тициана¹⁸, а чаще давал знак звонком и затем через доступный ему одному ход, соединявший королевский дворец с храмом искусств и наук, отправлялся к Моору и оставался у него по целым часам.

¹⁸ Тициан (Тициано Вечеллио) (ок. 1476/77 или 1489/490–1576) – итальянский художник, глава венецианской школы живописи. Его произведениям присущи жизнерадостность колорита, безмятежная ясность и динамика монументальных композиций, психологическая острота образов, тончайший красочный хроматизм, свободное письмо открытым мазком.

XV

Ульрих с жаром принялся за работу, и Моор следил за ней в качестве благожелательного, но внимательного и строгого учителя. При этом он остерегался излишне отягощать мальчика работой, брал его часто с собой во время прогулок верхом и посылал гулять по городу.

Вначале Ульрих весьма охотно бродил по городским улицам, глазел на длинные блестящие процессии или торопливо удалялся, когда укутанные с ног до головы фигуры проносили мимо него мертвеца. Бой быков не понравился ему, потому что он любил лошадей и ему было жаль видеть, как убивают или калечат этих благородных животных. Духовные и светские церемонии, которые, повторяясь чуть не ежедневно, привлекали постоянно толпы любопытных мадридцев, скоро надоели ему: духовными лицами кишел Альказар, а на солдат различного рода войск он насмотрелся достаточно при ежедневных сменах караула во дворце. Его мало интересовали так же мулы с побрякушками и пестрыми кисточками, потому что он достаточно нагляделся на них во время пути, а принцев, принцесс и разных расфранченных придворных он встречал ежедневно на лестницах, во дворе и в парке дворца.

В Тулузе и в других городах, через которые он проезжал, жизнь, как ему казалось, была гораздо веселее и суетливее,

чем в тихом Мадриде, где все прохожие имели вид богомольцев, где редко можно было встретить веселое лицо и где для мужчин и женщин не было более привлекательного зрелища, как вид сжигаемых на костре еретиков и евреев. Словом, город казался Ульриху малопривлекательным. Дворец Альказар представлял собою целый мирок, и в нем он находил все, что ему было нужно.

Особенно любил он бывать на конюшнях, так как там мог проявить свои способности. Но не менее нравилось ему и в мастерской художника, где Моор давал ему для срисовывания красивые оригиналы и модели; а Софронизба Ангвишола, которая часто по целым часам рисовала подле Моора, частенько подходила к Ульриху, рассматривала его работу, критиковала или одобряла ее, помогала советом и никогда не уходила без приветливой шутки.

Нередко Ульриху приходилось работать одному, потому что иногда король призывал к себе художника и покидал вместе с ним на несколько дней дворец, чтобы, как по секрету сообщил ему Моор, удалиться в какую-нибудь загородную виллу и писать там с натуры.

Вообще здесь было столько нового, интересного, приятного, что мальчик чувствовал себя вполне счастливым. Его огорчало только то, что у него не было подходящих товарищей, но и этот недочет вскоре был устранен.

Алансо Санчес Челло¹⁹, пользовавшийся отличной ре-

¹⁹ Точнее Санчес Коэлло (Coello) Алоисо (ок. 1531–1588) – испанский порт-

путацией испанский живописец, устроил свою мастерскую в верхнем этаже дворца. Король очень благоволил к нему и иногда брал его с собой в загородные поездки. Этот веселый художник ничуть не завидовал Моору, с которым он вместе учился в Венеции и Флоренции, а напротив, от души был привязан к нему. Во время первого пребывания нидерландского художника в Мадриде он даже просил своего коллегу помочь ему своими советами и указаниями. И теперь он часто посещал Моора, внимательно следил за его приемами во время работы и попросил взять в число своих учеников его детей, Санчеса и Изабеллу.

Вначале Ульрих не особенно обрадовался новым товарищам, так как он уже привык к уединению и вполне довольствовался образами, которые рисовала ему его пылкая фантазия. До сих пор он по утрам усердно занимался, с нетерпением ожидал посещения Софронизбы, а затем... мечтал и мечтал. Теперь все это должно будет измениться. К тому же Санчес, который был тремя годами старше, сразу не понравился Ульриху, потому что своими коротко остриженными черными волосами и худощавым лицом очень напоминал давнего недруга Ксаверия. Но тем более дружественные отношения установились между ним и Изабеллой.

Это была девушка лет четырнадцати, миловидное маленькое создание, с несколько неловкими минерами и с такими

ретист, португалец по происхождению, с 1557 года придворный живописец Филиппа II.

подвижными чертами лица, что оно порой казалось очень красивым, порой отталкивающим. Глаза девочки были бесспорно хороши; остальные же черты лица еще находились в стадии формирования, и пока трудно было сказать, выйдет ли из нее со временем красавица или же дурнушка. Увлечшись работой, Изабелла прикусывала язык, а ее черные как смоль волосы, и без того редко толком причесанные, окончательно растрепывались; однако когда она была весела и шутила, то не могла не нравиться окружающим.

Несомненно девочка была даровита; ее манера работать составляла яркий контраст с манерой Ульриха. Она работала медленно, но однажды начатое непременно доводила до конца. Ульрих же за все принимался с жаром, начало его работы обещало многое, но по мере того как она продвигалась, великое сводилось к малому, и его труд все больше терял, а не выигрывал.

Санчес значительно отставал от них обоих, но зато он знал многое такое, о чем неиспорченная душа Ульриха не имела понятия. Мать Изабеллы приставила к дочери в качестве дуреньки ворчливую зоркую вдову, госпожу Каталину, которой поручено было не отлучаться от девушки ни на мгновение, пока та работала в мастерской Моора.

Учение сообща пробудило в Ульрихе дух соревнования, и, кроме того, оно помогало ему научиться испанскому языку. Но вскоре ему представился еще лучший случай ознакомиться с этим языком. Однажды, когда он вышел из ко-

нюшен, к нему подошел худощавый человек в черном кафтане, пристально посмотрел ему в лицо, приветствовал его, как земляка, и стал рассыпаться насчет того, как ему приятно поговорить на родном языке. Он назвал себя магистром Кохелем, объявил, что состоит писарем у духовника короля, и просил «господина художника» навестить его.

Этот бледный человек с высохшим лицом, впалыми глазами и выступающими, будто всегда оскаленными зубами не особенно понравился юноше; но ему захотелось воспользоваться случаем, чтобы вволю поболтать на родном языке, и потому он направился к новому знакомому. Тот, желая принести своему молодому земляку какую-нибудь пользу, предложил Ульриху учить его испанскому языку. Ульрих был рад-радешенек, что убежал из школы и от противной латыни, и потому отклонил это предложение. Но когда магистр объявил ему, что он будет ограничиваться испанскими разговорами, не задавая уроков, и уверил его, что этим способом он шутя и без труда выучит язык, мальчик согласился и стал посещать магистра через день в сумерки.

Они тотчас же принялись за учение, и оно пошло легко, потому что Кохель заставлял его переводить на испанский язык веселые повести и любовные рассказы из итальянских и французских книг, которые он читал ему по-немецки, никогда не бранил его и ровно по прошествии получаса откладывал в сторону книгу, чтобы поболтать с ним.

Моор похвалил Ульриха за то, что он так усердно принял-

ся за изучение испанского языка, и обещал ему по окончании занятий вознаградить как следует магистра, человека отнюдь не богатого. Моор и без того благоволил к Кохелю, который был ярым поклонником его таланта и ставил голландца выше Тициана и других итальянских мастеров, называл его добрым другом богов и королей и убеждал своего ученика брать пример с Моора.

– Труд, труд! – твердил магистр. – Только с помощью труда можно достигнуть вершины славы и богатства. Но, конечно, успехи требуют жертв. Как редко, например, этому достойному человеку доводится пользоваться благодеяниями церковной службы. Ведь он небось давно не был в церкви?

Ульрих прямо и правдиво отвечал на этот и на подобные вопросы, а когда магистр стал говорить о дружбе, соединяющей короля с художником, и назвал их обоих Орестом и Пиладом, Ульрих, гордясь оказанной его учителю честью, рассказал Кохелю, как часто король тайком посещал Моора.

Затем Кохель стал спрашивать его, как бы случайно, среди разговора: «Что, король опять удостоил вас своим посещением?» – или же замечал: «Какие вы счастливцы! Говорят, король опять был у вас?» Это «вас» льстило Ульриху, так как ему казалось, что луч королевского благоволения падает и на него, и он стал сообщать земляку о каждом посещении короля, не ожидая вопросов любопытного магистра.

Так прошли недели и месяцы.

Еще не минуло года со времени пребывания Ульриха

в Мадриде, а он уже давно бегло говорил по-испански и легко мог объясняться со своими товарищами по занятиям; он даже начал учиться говорить по-итальянски.

Софронизба Ангвишола по-прежнему проводила все свои свободные часы в мастерской или беседа с Моором. Гранды и другие высокопоставленные лица также часто посещали мастерскую. Особенно часто в ней появлялся в то время, когда там бывала красивая итальянка, давнишний обожатель ее, дон Фабрицио ди Монкада.

Однажды Ульрих, сам того не желая, совершенно случайно (дверь из комнаты учеников в мастерскую была отворена) подслушал, как Моор убеждал ее, что с ее стороны неблагоприятно отвергать такого жениха, как барон, человека благородного и знатного, в любви которого не могло быть сомнения. Софронизба долго не отвечала; наконец она поднялась с места и сказала взволнованным голосом:

– Мы хорошо знаем друг друга; я знаю так же, что вы желаете мне добра. И все же. Оставьте меня быть тем, что я теперь; большего я не желаю. Барон мне далеко не противен; но разве брак может принести мне что-нибудь лучше того, что я уже имею? Любовь свою я отдала искусству, а вы – мой друг... Сестры мои заменяют мне детей. Не правда ли, я приобрела право так называть их? Мне придется заботиться о них, когда отец наш проживет наследство. О моей будущности обещала позаботиться королева, а пока мое место подле нее. Мое сердце наполнено... чуть не переполнено.

Я делаю все, что могу, и мне доставляет удовольствие, что я могу приносить пользу тем, кого люблю. Я желаю остаться вашей Софронизбой, я желаю остаться свободной художницей!

– Да, да, оставайся тем, что ты теперь, моя девочка! – воскликнул Моор, и затем в мастерской художника на долгое время все смолкло.

Между Изабеллой и Ульрихом, еще прежде чем они в состоянии были беседовать друг с другом, установились дружеские отношения, и в промежутках между занятиями они уже не раз пытались изобразить друг друга на полотне. При этом было немало смеху, а между Ульрихом и Санчесом не раз доходило до приятельских потасовок, потому что последний особенно любил придавать этим портретам карикатурные черты.

Моор часто хвалил работу Изабеллы; Ульриха же он то поощрял, то порицал, а порою и бранил. Бранил он его из деликатности обычно по-немецки, но тем не менее эти укоры очень огорчали юношу, и он целыми днями ходил как опущенный в воду.

«Слово» по-прежнему помогало ему во всех других отношениях; но там, где начиналось искусство, оно, по-видимому, утрачивало свою силу. Когда учитель задавал ему трудную задачу, с которой ему нелегко было справиться, он призывал «слово», но чем искреннее он его призывал, тем менее спорилась работа; когда же он забывал о «слове» и полагался

только на собственные силы, ему удавалось и самое трудное, и он достаивался похвалы художника.

Иногда Ульриху думалось, что он охотно отдал бы все блага жизни и все дары счастья, если бы только ему удалось достигнуть в области художества того, чего требовал от него Моор. Он знал и чувствовал, что последний справедлив в своих требованиях; но карандаш и уголь не могли передать то, что он видел внутренним взором, что возникало в его воображении. Вот краски – это другое дело, но рисование, вечное рисование – оно сделалось для него противным, невыносимым. Он был уверен, что с кистью в руке он делается художником, быть может, вторым Тицианом. Он тайком и пробовал уже писать красками, и повод к первому опыту ему подал Санчес Челло.

Этот зрелый не по годам юноша ухаживал за одной красавицей. Он доверил свою тайну Ульриху и однажды утром, когда Моор и отец Санчеса были у короля в Толедо, повел его на балкон верхнего этажа, отделенный только узким двором от расположенных напротив окон, возле одного из которых имела обыкновение сидеть хорошенькая Кармен, дочь привратника. Девушка постоянно располагалась у окна, так как отцовская квартира была очень темна, а ей с утра до вечера приходилось заниматься золотошвейной работой. Этим она зарабатывала кое-какие деньги, на которые ее отец отлично угощался в ближайшем трактире. Чем больше был аппетит отца, тем прилежнее приходилось работать дочери.

Только в большие праздники или в те дни, когда жгли еретиков, Кармен позволяли уходить из дома со старой теткой. Тем не менее у девушки не было недостатка в женихах. Девятнадцатилетний Санчес мечтал, конечно, не о руке, а о ее любви, и ежедневно отправлялся в сумерки на свой наблюдательный пункт, делал девушке выразительные знаки, бросал цветы и печенье на ее рабочий стол.

– Она еще застенчива, – говорил молодой испанец, приглашая Ульриха остановиться возле узкой, двери, которая вела на балкон. – Вот она! Посмотри, какой ангел! А этот гранатовый цветок в ее черных волосах, – видел ли ты когда-нибудь лучшие волосы? – это мой подарок. Увидишь, она скоро растет. Я знаю женщин.

И вслед за этим букет роз упал на колени очаровательной золотошвейки. Кармен слегка вскрикнула; увидев Санчеса, она сделала ему головой и рукой отрицательный знак и наконец повернулась к нему спиной.

– Сегодня она, верно, в дурном расположении духа, – заметил Санчес. – Но заметь, пожалуйста, ведь она все-таки оставила у себя мои розы! Хочешь держать пари, что она завтра приколет одну из них к груди или к волосам?

– Может быть, – ответил Ульрих, – у нее, вероятно, нет денег на то, чтобы самой купить себе цветы.

Действительно, на следующий день в сумерки волосы Кармен украшала роза. Санчес торжествовал и потащил Ульриха с собой на балкон. Красавица взглянула на них, слегка

покраснела и ответила на поклон Ульриха легким наклоном головы.

Дочь привратника была премилая девушка, и Ульрих решил, что ему тоже стоит попробовать сделать то, что делал Санчес. На третий день они снова пошли на балкон, и на этот раз Ульрих решился, предварительно втихомолку призвав на помощь «слово», прижать руку к сердцу в ту самую минуту, когда Кармен взглянула на него. Она снова покраснела, слегка помахала веером и так низко наклонила голову, что едва не коснулась ею своего шитья. А на следующий вечер она украдкой послала Ульриху воздушный поцелуй.

Отныне влюбленный юноша предпочитал ходить на балкон без Санчеса. Ему ужасно хотелось пропеть ей что-нибудь или сказать несколько нежных слов, но это было невозможно, так как по двору постоянно ходили взад и вперед разные люди. Тогда ему пришло в голову вступить с красавицей в разговор посредством кисти и красок. Он отыскал дощечку, в красках и кистях в мастерской не было недостатка, и спустя час было нарисовано пылающее сердце. Но оно было так красно и безобразно, что он бросил его рисовать, скопировав одного из тициановских ангелов, маленького, голенького, державшего в ручонке сердце. Дело пошло на лад, и это оригинальное упражнение в живописи доставило ему самому такое удовольствие, что он не мог оторваться от работы, и на третий день картина была закончена.

Он сам и не думал серьезно относиться к своей затее,

но кистью его водило свежее, зарождающееся чувство. Маленький купидон наклонился с ликующим лицом, а правую ножку он откинул назад, точно раскланиваясь. Ульрих почему-то счел нужным опоясать его черно-желтым шарфом, вроде тех, которые он видел на молодых австрийских эрцгерцогах. Он не удовлетворился также тем, что дал ему в одну ручку пронзенное стрелой сердце, и нашел нужным вложить в другую розан.

Он сам рассмеялся при виде своего творения и, не дав высохнуть краскам, побежал на балкон и показал картину Кармен. Она рассмеялась от души и отвечала на его жесты нежными поклонами. Затем она отложила в сторону работу и ушла в глубь комнаты, но тотчас же опять появилась у окна, держа в руках молитвенник и показывая ему восемь пальцев своих маленьких, прилежных ручек. Он ответил ей знаками же, что понял ее. На следующее утро, в восемь часов, он стоял возле нее на коленях в церкви и, улучив благоприятную минуту, шепнул ей: «Прелестная Кармен». Она покраснела, но он тщетно ожидал ответа от нее.

Вскоре девушка поднялась; Ульрих также встал, чтобы пропустить ее мимо себя, и в это время она как бы случайно уронила молитвенник. Он нагнулся, чтобы поднять его; она сделала то же и, когда они чуть не прикоснулись друг к другу головами, она поспешно прошептала ему: «Сегодня вечером в девять часов, в гроте-раковине; сад будет открыт».

Действительно, вечером юноша нашел Кармен в назна-

ченном месте. Он вначале не находил слов, и сердце его сильно билось. Но она сама пошла к нему навстречу, сказав, что он хороший мальчик, которого можно полюбить. Тогда он вспомнил о тех нежных клятвах, которые переводил Кохелю во время уроков испанского языка, и стал повторять их одну за другой, не забыв так же стать на колени, как это описывается в рыцарских романах.

И что же! Она поступила точно так же, как опять-таки значилось в прочитанных им книгах. Она просила его встать, что он и исполнил очень охотно, так как на нем были надеты тонкие шелковые чулки, а грот был усыпан острыми камешками. Затем она привлекла его к себе и стала нежной ручкой своей гладить его шелковистые кудри, наконец ее мягкие губы прикоснулись к его губам.

Все это было так обаятельно хорошо, и притом ему не приходилось говорить. Но под конец он почувствовал некоторое смущение, и ему стало даже как бы легче, когда издали раздались шаги обходчика, и Кармен увлекла его с собой из сада. Перед дверью, которая вела в квартиру ее отца, она еще раз пожала ему руку и исчезла как тень.

Ульрих остался один и долго расхаживал по дворцовому двору. Ему казалось, что он совершил нечто весьма дурное, и он не решался показаться на глаза своему учителю. Когда он входил час тому назад в темный сад, он снова призывал к себе счастье, но теперь он желал бы, чтобы оно в таком виде не приходило на его зов.

В мастерской горели свечи. Моор сидел в большом кресле и держал в руках – Ульрих хотел провалиться сквозь землю, – держал в руках его амура.

Юный «преступник» хотел прошмыгнуть мимо учителя, сказав вполголоса: «Спокойной ночи», – но тот подозвал его и, улыбаясь, спросил, показывая на картину:

– Ты это нарисовал?

Ульрих, краснея, кивнул. Тогда живописец осмотрел его с ног до головы и сказал:

– Ну что же? Очень недурно. Пожалуй, нам теперь можно приняться и за живопись.

Ульрих не знал, что и подумать, так как еще несколько недель тому назад Моор довольно резко ответил ему, когда он попросил его о том, что теперь художник сам предлагал ему. Вне себя от счастья, он нагнулся к руке своего учителя, чтобы поцеловать ее, но тот отдернул руку, взглянул на ученика с отеческой нежностью и сказал:

– Попробуем, попробуем, мой милый, но, чур, не бросать рисования, ибо оно – мать нашего искусства. Оно удерживает нас в границах истинного и гармоничного. Итак, до обеда мы будем по-прежнему заниматься рисованием, а после обеда, в виде награды, станем писать красками.

Так и случилось. Первое любовное приключение ученика принесло и другой плод, потому что отразилось и на отношениях его к Санчесу. Сознание, что он заступил ему дорогу и злоупотребил его доверием, так сильно беспокоило Ульри-

ха, что он делал все от него зависящее, чтобы оказать своему товарищу какую-нибудь услугу. Красавицу Кармен он больше не видел, потому что увлекся живописью так, как ничем не увлекался до сих пор и мало чем – впоследствии.

XVI

Ульриху минуло семнадцать лет. Прошло уже четыре месяца с тех пор, как ему было дозволено писать красками.

Санчес Челло лишь изредка появлялся в мастерской Моора, потому что его отдали в учение к архитектору Геррере²⁰. Изабелла продолжала соперничать с Ульрихом, но тот оставлял ее далеко за собой. Казалось, что у него врожденная способность обращаться с кистью, и молодая девушка следила за его успехами не только без всякой зависти, а, напротив, с непритворной радостью. Когда Моор делал ему выговоры во время уроков, на ее глазах навертывались слезы, а когда он с довольным видом рассматривал его эскизы и с одобрительными словами показывал их Софронизбе, она радовалась, как будто похвалили ее саму.

Софронизба по-прежнему ежедневно приходила в мастерскую работать, болтать с Моором или играть с ним в шахматы. Она тоже радовалась успехам Ульриха и давала ему полезные советы. Когда молодой художник однажды пожаловался ей, что у него нет хорошей модели, она весело предложила ему писать с нее. Это было новое, неожиданное счастье. Он день и ночь только и думал, что о Софронизбе.

Наконец начались сеансы. Она являлась на них в красном,

²⁰ Имеется в виду Хуан Батиста де Эррера (Неггего) (ок. 1530–1597) – видный испанский архитектор.

шитом золотом платье; высокий кружевной воротник едва не касался щеки. Волнистые темно-русые волосы красиво обрамляли овал лица, а тяжелая коса спускалась на спину. Маленькие локончики оттеняли белые уши, а изящный ротик придавал всему ее лицу несколько плутоватое выражение. Выражение ее карих умных глаз нелегко было передать на полотне. Она сама посоветовала Ульриху быть осторожным при изображении на полотне ее маленького, несколько выдающегося и не особенно красивого подбородка, а равно и слишком высокого и широкого лба. Для того чтобы облегчить ему задачу, она нарочно скрыла часть лба под жемчужной диадемой.

С пламенным воодушевлением молодой художник принялся за эту работу, и первый эскиз удался ему сверх всяких ожиданий. Дон Фабрицио находил портрет «ужасно» схожим. Моор также не высказал недовольства, он лишь выразил опасение, как бы работа его ученика, при доработке деталей, не утратила той смелости и свежести, которые в его глазах составляли главное ее достоинство, и потому он был очень рад, когда вскоре раздался звонок, возвещавший прибытие короля, которому он желал показать труд Ульриха.

Филипп давно не появлялся в мастерской, но художник имел основание ожидать его, так как накануне король должен был получить письмо Моора, в котором тот просил монарха отпустить его на родину. Он уже давно не был в Нидерландах, и его жена и дети убеждали его приехать к ним.

Расставание с Мадридом, и в особенности с Софронизбой оказалось, однако, для него нелегким. Но именно потому, что он чувствовал, что она была для него более чем любимая ученица, он решил поторопиться с отъездом.

Все присутствующие немедленно были удалены из мастерской, дверь заперта на задвижку, и Филипп явился.

Он был бледнее обычного и выглядел усталым. Моор почтительно поклонился ему со словами:

– Я давно не имел чести видеть у себя ваше величество.

– Оставь титулы; для тебя я просто Филипп, – прервал его король. – А ты, Антонио, желаешь покинуть меня? Возьми назад свое письмо. Сейчас не могу тебя отпустить.

И, не ожидая ответа, король стал жаловаться на свою тяжелую, утомительную долю, на неспособность чиновников, на людскую злобу, подлость и эгоизм. Он выражал сожаление о том, что Моор – нидерландец, а не испанец, называл его единственным своим другом среди голландских и фламандских бунтовщиков и остановил его, когда тот попытался заступиться за своих земляков. Он повторил ему, что беседа с ним составляет единственное его развлечение и дает ему отдохновение. Он убеждал живописца остаться из дружбы и сострадания к нему, порфироносному невольнику.

После того как художник пообещал ему пока не напоминать об отъезде, король принялся расписывать какого-то святого по эскизу, набросанному Моором. Но по истечении полчаса отложил кисть в сторону и стал упрекать себя в за-

бвении своего долга, так как он, вместо того чтобы вполне отдаться служению церкви и государству, занимается делом, не относящимся к прямым обязанностям. Он-де раб своего сана, даже простой поденщик, окончив свою дневную работу и закинув топор за плечо, может спокойно отдохнуть. Он же, король, не знает отдыха ни днем, ни ночью. Сын его – изверг²¹, его подданные – или бунтовщики, или веляющие хвостом жалкие собаки. Они, подобно кротам, подкапываются под основу трона – католическую церковь. Его призвание – все давить и топтать, а его земной удел – всеобщая ненависть. Он помолчал с минуту и затем воскликнул, указывая рукой на небо:

– Там, там, у Него, у Нее, у святых, за которых я ратую, я найду награду!

Моору еще не приходилось видеть короля в таком настроении. Филипп, впрочем, по-видимому, сам заметил это и сказал, немного успокоившись:

– Даже и здесь я не нахожу должного покоя. Сегодня мне что-то совсем и работать не хочется. А, ты не написал ли чего-нибудь новенького?

Художник показал королю сначала какой-то написанный им портрет, и после того как король, рассмотрев его с видом знатока, высказал несколько дельных замечаний, Моор

²¹ Имеется в виду наследный принц Дон Карлос (1545–1568) – сын Филиппа от его первой жены Марии Португальской. Карлос с детства был отмечен печатью вырождения, а в ранней юности у него стали проявляться признаки умственного расстройства.

подвел его к написанному Ульрихом портрету Софронизбы и спросил:

– А что скажет ваше величество об этой картине?

– Гм, – произнес Филипп, – немного Моора, немного Тициана, а есть и кое-что оригинальное. А похожа, похожа; живая Софронизба. Кто это написал?

– Мой ученик, Ульрих Наваррете.

– Полагаешь из него выйдет прок?

– Трудно сказать. В некоторых отношениях он превосходит мои ожидания, в других – далеко не оправдывает их. Начало его работы всегда много обещает, но конец часто выходит скомканным. Он быстро схватывает предметы... Но все же, по моему мнению, ему недостает настоящей художественной жилки... К тому же он все как будто куда-то торопится...

– Ну, это такой недостаток, который проходит с годами. Под твоим руководством, при усердии и старании...

– Он приобретет, вы считаете, то, чего ему недостает? Я тоже так думал. Но, повторяю, он странный человек: в формах он не видит сути искусства.

Король пожал плечами и сказал:

– Дай ему рисовать глаза, губы, носы.

– Я и думаю сделать это в Антверпене, – ответил Моор.

– Какой там Антверпен! Ты остаешься здесь, Антонио. Жена и дети – это, конечно, дело почтенное. Я видел портрет твоей супруги: это здоровая, питательная пища. Но здесь

ты имеешь амброзию – ты понимаешь, о ком я говорю! Софронизба любит тебя – по крайней мере так говорила мне королева.

– Да, я признаюсь, что тяжело покидать благосклонного монарха и такую женщину как Софронизба. Но без хлеба насущного сыт не будешь. Такова уж жизнь. Я покидаю здесь друзей, дорогих старых друзей, а находить новых в мои годы нелегко.

– Твои друзья – мои друзья, и если ты действительно мне друг, то ты останешься. А теперь – довольно! До свидания, Антонио! Завтра, быть может, увидимся. Счастливцев же ты, Антонио! Не успею я уйти отсюда – и ты опять погрузишься в мир красок. А мне приходится лезть в ярмо, в тяжелое ярмо!

После ухода короля Моор принялся за работу. После обеда он стоял перед мольбертом и писал, как вдруг, без всякого условного знака, дверь, ведущая в мастерскую, распахнулась и на пороге опять показался Филипп. Лицо его было веселее и оживленнее обыкновенного, но эта веселость как-то не шла к нему: он точно надел на себя чужое платье. Он держал в руке письмо и воскликнул:

– Везут, везут! Два чуда искусства разом! «Христос в Гефсиманском саду» и «Диана в купальне»! Смотри, что мне пишет Тициан!

– Славный старик! – заметил Моор.

– Старик! Какой старик! Юноша, мужчина во цвете лет!

Ему скоро девяносто, но кто может сравниться с ним!

С этими словами король подошел к портрету Софронизбы и продолжал с неприятным, ироническим смехом:

– А вот тебе и ответ! Что за пачкотня! Ужасная картина! А еще твой молокосос туда же – лезет подражать Тициану!

– Ну, однако, картина не так уж безнадежна, – заметил Моор. – В ней даже есть что-то такое...

– И ты это говоришь! – воскликнул Филипп. – Бедная Софронизба! Эти кошачьи глаза, этот рот сердечком! Впрочем, где мальчику понять женщину, да еще такую, как Софронизба! Я не могу видеть этот портрет! Дай-ка сюда палитру! У меня какой-то зуд в руках. Попробую поправить ее. Быть может, и не выйдет Софронизба – ну, тогда выйдет морское сражение.

Филипп выхватил у Моора палитру из рук, обмакнул кисть и подошел к картине. Но Моор встал между нею и королем и весело воскликнул:

– Распишите лучше меня, ваше величество, но пощадите портрет!

– Нет, нет, пусть будет морское сражение! – смеялся король, отстраняя Моора.

Тот, увлеченный необычной веселостью короля, слегка ударил его кистью по плечу.

Монарх вздрогнул, щеки и губы его побледнели, он весь выпрямился и мигом как будто превратился в лед. Моор отлично понял, что происходило в душе деспота. Ему сде-

лалось жутко, но он сохранил хладнокровие, и прежде чем оскорбленный властелин успел произнести что-либо, он сказал совершенно спокойным тоном, как будто не случилось ничего особенного:

– Нет, ваше величество, оставьте морское сражение и лучше поправьте портрет. Действительно, в нем есть недостатки. Особенно неудачно вышел подбородок. Что касается глаз, то ведь сегодня они могли блеснуть так, а вчера – иначе. Но ведь вы согласитесь со мной в том, что портрет должен изображать известную личность не в тот или другой момент, а, так сказать, суммировать всего человека. Например, король Филипп, обдумывающий какую-нибудь глубокую политическую комбинацию – это был бы великолепный сюжет для замечательной исторической картины, но не для портрета.

– Конечно, – произнес король тихим голосом, – портрет должен быть зеркалом не только лица, но и души. В моем портрете, например, всякий должен бы угадывать, как искренне Филипп любит искусство и художников. Возьми палитру. Не мне, обремененному делами дилетанту, а тебе, великому мастеру, исправлять работы талантливых учеников.

Эти слова были произнесены каким-то особенным, слащавым тоном, который, однако, скорее встревожил, чем успокоил Моора. Он знал, что Филипп был мастером притворства. Мягкость короля пугала художника больше, чем в состоянии была бы испугать вспышка гнева. Монарх

говорил так только тогда, когда желал скрыть то, что происходило в его душе. К тому же Моор нарочно постарался свести разговор на искусство, и еще не было примера, чтобы Филипп уклонился от подобного разговора. Художник лишь слегка прикоснулся к особе короля... но тот был щепетилен, чрезмерно щепетилен.

В настоящее время Филипп не желал ссориться с Моором. Но горе ему, если король в недобрый час вспомнит о нечаянно нанесенном ему легком оскорблении! Даже самый легкий удар лапы этого крадущегося тигра способен был убить любого человека.

Все это быстро промелькнуло в голове Моора. Он вторично почтительно протянул королю палитру, но тот покачал головой и сказал:

– Нет, мне некогда. Вы отвечаете за ваших учеников, как за самого себя. Каждому свое – не правда ли, любезный Моор? До свидания! Еще увидимся.

В дверях король еще раз сделал прощальный жест рукой и скрылся.

XVII

Моор остался один в мастерской. И каким это образом он допустил такую неосторожность! Он в беспокойстве смотрел в землю. Он, конечно, имел некоторое основание опасаться, но его несколько успокаивало то соображение, что он был с глазу на глаз с королем и что необычайное происшествие это случилось без свидетелей. Но художник не знал, что его оригинальную, опасную стычку с королем видел Ульрих.

Ученик занимался в соседней комнате рисованием, когда в мастерской раздались громкие голоса. Он вообразил, что это Софронизба вступила с художником в спор об искусстве, как уже неоднократно случалось. Он отдернул занавеску и заглянул как раз в ту минуту, когда Моор ударил по плечу смеющегося короля. Это было довольно комичное зрелище, но тем не менее он почувствовал невольную дрожь и поспешил возвратиться к своей модели.

Вечером Моор ощутил острую потребность повидаться с Софронизбой. Он был приглашен на бал к королеве Изабелле и знал, что встретит там молодую девушку.

Парадная зала была освещена тысячами восковых свечей. Стены украшали дорогие гобелены и алые фландрские ковры. Картины отражались на блестящем, как зеркало, полу.

До бракосочетания Филиппа с французской принцессой, привыкшей к более веселой придворной жизни, в его двор-

це никогда не танцевали. Теперь в Альказаре временами давались балы. Первыми, решившимися протанцевать менуэт перед Филиппом, были Софронизба и герцог Гонзаго. Но, странное дело, самая веселая и живая из придворных дам давала менее всего повода злым языкам к сплетням и нареканиям.

Когда Моор вошел в бальный зал, только что окончили гавот. В первом ряду блестящей толпы, окружавшей королеву и состоявшей из высших духовных лиц, послов и грандов, он увидел австрийских эрцгерцогов и красивые юношеские фигуры Алессандро Пармского²² и дона Хуана Австрийского²³, незаконнорожденного сводного брата Филиппа. Некрасивый, кривобокий наследник престола дон Карлос надоедал плоскими шутками придворным дамам, закрывавшим веерами лица, но не смевшим выказывать неодобрение сыну монарха. Всюду глаз встречал бархат, шелк и драгоценные камни, а тонкими кружевами были отделаны и мужские, и женские костюмы. Развевающиеся локоны, блестящие глаза, благородные и красивые черты лиц приковывали внимание; но шеи, затылки и руки дам были тщательно скрыты под шелком и кружевами согласно строгой моде, господствовавшей при дворе Филиппа.

²² Алессандро Фарнезе, герцог Пармский (1545–1592) – талантливый полководец и политик.

²³ Дон Хуан Австрийский (1547–1578) – испанский полководец и политический деятель, побочный сын императора Карла V.

Одуряющее благоухание наполняло воздух роскошных залов, опахала поднимались, опускались и закрывались, блестящее общество болтало, смеялось, злословило. Из соседней комнаты раздавался звон монет, бросаемых на игорные столы. Всеобщее веселье не нарушалось присутствием высших духовных лиц, одетых в фиолетовые и алые мантии и мерными шагами расхаживавших по залам и раскланивавшихся со знатными дамами и градами.

Вдруг раздался звук трубы. В зал вошел Филипп; тотчас же придворные кавалеры отошли от красавиц и низко поклонились; дамы склонились в почтительном реверансе; водворилась мертвая тишина. Казалось, будто ледяной ветер пронесся по куртинам цветов и заставил последние поникнуть головками.

Несколько мгновений спустя кавалеры приподняли головы, а дамы выпрямились, но никто, не исключая и старейших статсдам, не имел права садиться в присутствии короля. Веселье мигом исчезло, громкие разговоры сменились шепотом. Молодежь тщетно ожидала сигнала к началу танцев.

Давно уже никто не видел Филиппа таким гордо-презрительным, таким мрачным, как сегодня. Опытные царедворцы заметили, что он больше чем обычно откидывал голову назад, и старались не попадаться ему на глаза. Король расхаживал по залам, точно рассматривая картины на расписном потолке, но тем не менее он замечал то, что желал заметить, и когда увидел Моора, то милостиво кивнул ему и улыбнул-

ся, но не призвал его к себе знаком, как имел обыкновение делать. Это не прошло незамеченным ни для живописца, ни для Софронизбы, которой художник уже успел сообщить о случившемся. Он рассчитывал на нее, как на самого себя, и она вполне заслуживала такого доверия.

Умная итальянка отчасти разделяла его беспокойство, и как только король удалился в соседнюю залу, она подозвала к себе Моора и долго беседовала с ним в амбразуре окна. Она посоветовала ему приготовиться к отъезду, обещав зорко следить за дальнейшим ходом событий и своевременно предупредить его.

Живописец возвратился в свою квартиру уже после полуночи. Отослав заспанного камердинера, он стал с озабоченным видом ходить по комнате взад и вперед, затем придвинул написанный Ульрихом портрет Софронизбы ближе к камину, на выступе которого горели многочисленные восковые свечи в двух канделябрах.

Это была она, его друг, – и в то же время это была не совсем она. В ней чего-то недоставало – в этом король был прав, – недоставало чего-то такого, чего не мог постигнуть отрок. Нельзя изобразить того, чего не в состоянии прочувствовать.

Но все же отзыв Филиппа был слишком суров. Он сам, Моор, брался несколькими мазками кисти превратить портрет в верное изображение любимого существа, разлука с которым была для него так невыносимо тяжела.

«Мне уже за пятьдесят, – думал он, и на устах его появилась горькая усмешка, – уже за пятьдесят лет, я старый супруг и отец, и все же... и все же... У меня дома есть вкусный, питательный хлеб... да благословит, да сохранит его Господь! Хоть бы эта девушка была моей дочерью! Как долго сердце человеческое сохраняет свою жизненную силу! Быть может, любовь и есть корень жизни. Когда засыхает корень, увядает и само растение...»

Погруженный в глубокое раздумье, Моор инстинктивно взял в руки палитру и кисть и стал урывками проводить штрихи то возле рта, то возле глаз, то у нежных ноздрей. Но эти легкие, мимолетные штрихи придали совершенно иное выражение ученической работе, так сказать, одухотворили ее.

Когда он наконец встал и посмотрел на дело своих рук, он невольно улыбнулся и спросил себя, действительно ли возможно такими незначительными средствами изображать самое высшее в человеке – его душу и ум. А между тем и то, и другое явно бросалось теперь в глаза зрителю. Моор был мастер своего дела, и немногих мазков кисти оказалось достаточно, для того чтобы придать смысл и выражение несовершенной работе.

На следующее утро Моор застал Ульриха перед портретом Софронизбы. Сон ученика не был спокойнее сна учителя, потому что на душе юноши лежало сознание нехорошего поступка. Дело в том, что после того как он накануне стал

невольным свидетелем странной сцены в мастерской Моора, он совершил с Санчесом прогулку верхом за город, а после этого отправился на урок к магистру. Он уже довольно бегло говорил по-испански, а также немного по-итальянски, но беседа с Кохелем доставляла ему такое удовольствие, что он продолжал навещать его по нескольку раз в неделю.

На этот раз они не принялись за переводы, потому что магистр сначала слегка упрекнул юношу за продолжительное отсутствие, а затем, когда речь коснулась занятий Ульриха и Моора, с притворным участием спросил его, верен ли слух о том, что король давно уже не посещал художника и перестал благоволить к нему?

– Перестал благоволить! – весело воскликнул Ульрих. – Да они относятся друг к другу совершенно по-товарищески! Еще не далее как сегодня они подняли такую возню в мастерской, и Моор порядком-таки хватил короля кистью! Но... ради Бога... поклянитесь мне... экий я олух!., поклянитесь мне никому не говорить об этом.

– Хватил кистью! – воскликнул Кохель и громко засмеялся. – Вот вам моя рука, Наваррете. Я-то не проболтаюсь. Но вы – смотрите, не проболтайтесь вы! Боже избави! За эту невинную шутку Моор мог бы дорого поплатиться. Прошу вас извинить меня на сегодняшний день: у меня спешная работа.

Ульрих отправился от Кохеля прямо в мастерскую. Сознание, что он поступил опрометчиво, даже дурно, овладе-

ло им тотчас же, как только из его уст вырвалось последнее слово, и оно стало все более и более тревожить его. Что, если Кохель, которого он в душе считал двуличным человеком, не станет молчать? Какие последствия для Моора могла иметь его измена? Вообще Ульрих не был болтлив, но тут, желая похвастать близостью отношений своего учителя и короля, забыл всякое благоразумие.

Проведя беспокойную ночь, он поспешил к портрету Софронизбы и, взглянув на него, обомлел. Неужели это было действительно его рук дело?

Он узнавал каждый мазок кисти. И все же. Эти умные глаза, этот ясный, высокий лоб, эти нежные губы, как будто готовые открыться неизвестно, для шутки ли, или для умного слова, – не он их писал, да он никогда и не был бы в состоянии написать их такими. Ему просто стало жутко. Неужели тут помогло ему «счастье», которое обычно покидало его при его занятиях? Он отлично помнил, что еще вчера вечером, перед тем как он лег спать, картина имела совершенно иной вид. Он знал так же, что Моор никогда не писал при свечах: к тому же он слышал, что художник вернулся домой очень поздно, и вдруг... и вдруг...

Художник окликнул Ульриха. Он долго смотрел на красивого юношу, в изумлении стоявшего перед полотном. Он отлично понимал, что происходило в пробуждающейся душе молодого художника, так как нечто подобное тому, что происходило теперь между ним и Ульрихом, случилось и с ним

самим в то время, когда он учился у знаменитого художника Скорела²⁴.

– Что с тобой? – спросил Моор своим обычным, спокойным голосом и положил руку на плечо ученика. – Ты, кажется, любишь свою работу?

– Но она... я не знаю, – бормотал Ульрих, – но мне кажется, что за ночь она...

– Это иногда случается, – прервал его художник. – Если кто серьезно относится к искусству и видит в нем не одно только праздное препровождение времени, то ему помогают невидимые силы, и, когда он утром взглянет на то, что сделал накануне, ему кажется, будто совершилось чудо.

При этих словах Ульрих сначала побледнел, а потом покраснел. Наконец он покачал головой и сказал неуверенным голосом.

– Да... Но эта тень в углах губ... видите... и это освещение лба... и вот здесь, смотрите-ка на эти ноздри... это не я сделал.

– Все это очень недурно, – прервал его Моор. – То, что теперь добрые духи рисуют за тебя ночью, ты в Антверпене научишься рисовать сам среди белого дня, в любое время.

– Вы говорите – в Антверпене?

– Да, мы сегодня же собираемся в путь. Это необходимо сделать втайне. Когда Изабелла уйдет, уложи лучшие твои вещи в маленький саквояж. Быть может, нам удастся улиз-

²⁴ Ян ван Скорел (1495–1562) – нидерландский живописец, и архитектор.

нуть потихоньку. Мы уже слишком долго загостились в Мадриде. Никто – понимаешь ли, – никто даже из слуг не должен догадываться о том, что происходит. Я знаю, ты не болтун.

Вдруг Моор замолчал и побледнел: перед дверью раздались громкие и сердитые мужские голоса. Ульрих тоже испугался.

Намерение художника покинуть Мадрид обрадовало его, так как оно избавляло их от опасности, которой мог бы угрожать им его необдуманный поступок. Услыхав же шум за дверью, он вообразил, что это альгвазилы, пришедшие за Моором.

Моор направился к двери, но прежде чем дошел до нее, она распахнулась и в комнату вошел бородатый солдат. На пороге он еще раз обернулся и кинул желавшим удержать его французским слугам несколько бранных слов; затем он обратился к Моору и воскликнул, далеко откинув назад туловище и радостно простирая к нему руки:

– Эти лизоблюды хотят помешать мне засвидетельствовать мое почтение своему другу, благодетелю, великому Моору! Что вы так на меня уставились? Или вы забыли рождественский вечер в Эммендингене и Ганса Эйтельфрица из Кёльна на Шпрее?

Последние следы беспокойства мигом исчезли с лица Моора. Действительно, в этом шумливом, громогласном солдате он не сразу узнал тогдашнего своего скромного спутника. К тому же на вошедшем был такой странный и пестрый

костюм, который невольно бросался в глаза. Одна штанина, сшитая из красных и синих полос, закрывала ногу намного ниже колена, между тем как другая, зеленая и желтая, спускалась лишь чуть ниже бедра. Камзол его был разукрашен пестрыми лентами и цветными вставками, а разноцветные перья украшали его головной убор.

Моор радушно приветствовал старого знакомого и выразил удовольствие по поводу того, что видит его в таком нарядном костюме. Он заметил, что Ганс держит теперь голову гораздо выше, чем тогда, в фургоне и на ночлегах, и высказал предположение, что, вероятно, он имеет на то основание.

– Конечно, – ответил Эйтельфриц. – Я уже несколько месяцев состою в войсках его величества короля на двойном жалованье, и нашему брату живется гораздо лучше, чем простому пехотинцу. Ведь вы знаете песенку:

Несчастливая судьбина
Твоя, простой солдат!
Отслужишь – подаянье
Просить придется, брат.
Ужели лучшей доли
Нам в век свой не видать?
Нет, лишь одно спасенье –
Скорее умирать.

– В свое время я часто певал эту песенку, господин, – а теперь... теперь я куплю целый мир. Теперь мне тысяча чер-

вонцев нипочем.

– Выходит, ты получил хорошую добычу, Ганс?

– Грешно жаловаться; но настанут еще и лучшие времена. Мы отправились втроем из Венеции через Ломбардию в Геную, оттуда морем в Барселону, а из Барселоны, через эту гадкую каменистую страну, сюда, в Мадрид.

– Чтобы поступить здесь на службу?

– О нет, ни за что! Мне хорошо и в моем полку. Я привез сюда картины, их намалевал Тициан – вы, может быть, слышали о нем? Вот посмотрите на этот кошелек... все золотые. Тому, кто осмелится назвать короля Филиппа скупым, я выбью все зубы.

– Хорошая весть, хорошая и награда, – засмеялся Моор. – Что же, вы уже нашли себе подходящее помещение?

– Прекрасное! К сожалению, мне уже сегодня вечером приходится уезжать обратно. Но я не хотел уехать, не засвидетельствовав вам свое почтение... Ах, черт возьми, да это никак тот парнишка, который в Эммендингене желал завербоваться в солдаты!

– Он самый!

– Ишь ты, как вырос! Теперь его, пожалуй, можно бы принять в солдаты. Вы помните меня, молодой господин.

– Конечно, – ответил Ульрих. – Вы еще пропели песню о счастье.

– И это осталось у вас в памяти? – спросил солдат. – Все это глупости. Хотите верьте, хотите нет, но я сложил эту

песенку в нужде и горе, чтобы рассеять тоску. Теперь мне живется хорошо, а в счастье у меня не складываются песни. Ведь летом не нужно печки.

– Где вас поместили?

– В гостинице «Старая кошка»; кажется так называется этот кабак.

Солдат, осведомившись еще о шуте и выпив стакан вина с Моором и Ульрихом, распростился и ушел. Вслед за ним и художник отправился один в город.

В обычное время Изабелла Челло явилась со своей дуэньей в мастерскую и тотчас же заметила перемену, происшедшую с портретом Софронизбы. Ульрих стоял возле нее перед мольбертом, пока она смотрела на картину. Долго она всматривалась в нее, не произнося ни единого слова. Наконец обратилась к нему с вопросом:

– И это ты написал самостоятельно... без помощи учителя? Ульрих отрицательно покачал головой и сказал вполголоса:

– Он уверен, что это сделал я, и все же я не могу понять этого.

– А я понимаю! – живо воскликнула она и продолжала рассматривать портрет. Наконец, она повернула к Ульриху свое милое круглое личико, взглянула на него влажными глазами и сказала таким задушевным тоном, который тронул Ульриха до глубины сердца:

– Как я рада! Мне самой никогда не удастся написать так.

Ты еще станешь со временем великим художником, таким же великим, как Моор! Увидишь, что станешь... Это так хорошо, так хорошо... я не могу и выразить, как хорошо.

При этих словах кровь бросилась Ульриху в голову, и неизвестно, от выпитого ли им вина, или от пророческих слов молодой девушки, или от того и другого вместе, – словом, от чего бы это ни случилось, но он почувствовал точно какое-то опьянение и, сам хорошенько не сознавая, что делает и говорит, схватил маленькую ручку Изабеллы, откинул назад свою курчавую голову и восторженно воскликнул:

– Ты права, Белочка, я стану художником. Искусство одно только искусство! Сам учитель сказал, что все остальное пустяки. Да, я чувствую, чувствую вот здесь, что учитель наш прав!

– Да, да! – воскликнула Изабелла. – Ты будешь великим, очень великим художником!

– А если мне это не удастся, если я ничего больше не напишу вроде этого... – Он внезапно остановился, вспомнив, что он уезжает, быть может, завтра же, и продолжил более спокойным и грустным тоном: – Положись на меня. Я сделаю все, что могу, и не правда ли, что бы ни случилось, ты будешь радоваться моим удачам, а если бы случилось иначе...

– Нет, нет! – с живостью воскликнула она. – Ты можешь достигнуть всего, а я, я... ты не можешь себе представить, как я рада тому, что ты в состоянии сделать больше, чем я.

Он снова взял ее руку, и, когда она ответила рукопожа-

тием на его рукопожатие, раздался резкий голос бдительной дуэньи:

– Это что такое, сударыня? Не угодно ли приняться за работу? Время дорого, как говорил ваш батюшка.

XVIII

«Время дорого»! Это сказал себе и магистр Кохель накануне, как только Ульрих ушел от него. Он давно уже, по поручению священной инквизиции, наблюдал за художником и старался собрать против него все улики. Шпионство и доносы, в которых он уже долгое время усердно практиковался, он называл «служением церкви». Он надеялся со временем получить за свою верную службу какое-нибудь аббатство, а если даже этого не случится, то все же его доносы давали ему средства к существованию, и к тому же они успели стать для него потребностью, второй натурой.

Он начал свою карьеру в Кёльне монахом-священником и не порывал постоянных связей со своими прежними товарищами по ордену. В числе последних были и магистры Сутор и Штубенраух, которых в позапрошлом году Моор довез из Кёльна во Фрейбург, и Кохель поддерживал с ними переписку. Он давно знал, что необычайное благоволение короля к живописцу возбудило негодование не только членов инквизиции, но и высших придворных сановников, и иностранных дипломатов, но скромная, безупречная жизнь художника не давала повода ни к малейшей зацепке. Вскоре, однако, к нему издалека пришла помощь. Он получил письмо, продиктованное Сутором и написанное Штубенраухом на так называемом кухонно-латинском языке. В этом письме

шла речь, между прочим, и о Мооре, и благородная парочка старалась выставить его злым еретиком. Они жаловались на то, что он не довез их, согласно своему обещанию, до цели их путешествия, а высадил на дороге, в жалкой харчевне, среди диких, безбожных солдат, подобно тому как мать Моисея бросила своего ребенка. И неожиданно в Кёльне с ужасом узнали, что такой человек пользуется особым благоволением наихристианнейшего короля Филиппа! Кохелю поручалось наблюдать за тем, чтобы эта паршивая овца не заразила всего стада, а главное – Боже упаси! – самого короля.

Из-за этого письма магистр и постарался сблизиться с Ульрихом. То, что он услышал сегодня от болтливой юноши, являлось в его глазах самой важной уликой и могло послужить веским основанием для обвинения в том, что нидерландский еретик – мадридская инквизиция была склонна видеть во всяком нидерландце еретика – опутал короля злыми чарами и привязал к себе недозволенными узами.

Он умел быстро писать, и, таким образом, ему удалось еще в тот же вечер отправиться во дворец инквизиции с готовым обвинительным актом. На следующий день его опять пригласили туда и сняли с него устный допрос, который и был занесен в протокол. Когда он покинул мрачное здание, его воодушевляла радостная уверенность, что он трудился не даром и что нидерландец погиб.

Между тем в квартире Моора велись деятельные, но секретные приготовления к отъезду. Он не был спокоен, пото-

му что один из камер-лакеев, особенно ему преданный, сообщил ему, что какой-то переодетый доминиканец подходил к двери мастерской и долго беседовал со слугой-французом. Это было равносильно появлению огня под крышей, воды в трюме корабля, чумы в доме.

Софронизба велела передать Моору, что еще сегодня сообщит ему нечто важное, но солнце уже стояло низко, а ее все не было, не было и весточки от нее.

Он пробовал рисовать, но работа не клеилась. Он стал смотреть в сад и на далекую цепь Гвадаррамских гор, но на этот раз нежный фиолетовый оттенок скал, так часто восхищавший его, не произвел на него ни малейшего впечатления.

Его не пугали пытки и смерть, но волновали злоба, нетерпение и чувство разочарования. Он любил Филиппа и верил в его дружбу. А теперь? Теперь он пришел к выводу, что король любил в нем только его кисть.

Погруженный в мрачные мысли, он все еще стоял у окна, когда ему доложили о приходе Софронизбы. Она явилась не одна, а под руку с доном Фабрицио ди Манкадой. Вчера, под конец бала, она приняла предложение сицилийца и дала ему слово.

Моор был рад, от души рад – и он это и высказал, но все же он почувствовал жгучую боль, когда барон в вежливых выражениях стал благодарить его за его расположение, которое он постоянно выказывал Софронизбе и ее сестрам, и затем

рассказал о том, как милостиво королева соединила их руки. Моор, впрочем, слушал его рассеянно, потому что его беспокоили разные сомнения и предчувствия. Любила ли Софронизба своего жениха, или же она только принесла тяжелую жертву ради него и его спокойствия? Быть может, она обретет счастье в союзе с этим достойным человеком. Но почему она согласилась стать его женой теперь, именно теперь? И тут ему вспомнилось, что вдовствующая маркиза Ромеро, всемогущий друг великого инквизитора, – родная сестра дона Фабрицио.

До сих пор Софронизба предоставляла возможность говорить жениху, но когда распахнулись двери ярко освещенной гостиной, и были зажжены все свечи в мастерской, молодая девушка не смогла более выносить искусственную свою сдержанность и торопливо прошептала Моору: «Отпустите слуг, закройте мастерскую и идите за нами».

Моор поступил, как ему велели. Он и барон повиновались ей также, когда она велела посмотреть, нет ли кого в соседней комнате. Она сама приподняла занавес и заглянула даже в камин.

Художник еще никогда не видел ее такой бледной. С судорогами на лице и в плечах она вышла на середину комнаты, знаком подозвала к себе мужчин и сказала, прикрывая рот опахалом:

– Дон Фабрицио и я – одно и то же, в том свидетель Бог! Вам, дорогой учитель, угрожает большая опасность.

Они знают о вчерашнем происшествии. Все о нем говорят. Мой жених навел справки; на вас подана жалоба, и инквизиция намерена вмешаться в дело. Доносчики называют вас еретиком, колдуном, заговорившим короля. Завтра или послезавтра они вас арестуют. Король в ужасном расположении духа. Папский нунций открыто спросил его, правда ли, что он вчера подвергся в вашей мастерской тяжкому оскорблению? Все ли готово к бегству? Моор утвердительно кивнул.

– Ну хорошо, – прервал барон свою невесту. – Теперь я прошу вас выслушать меня. Я отпросился в отпуск в Сицилию, чтобы испросить благословение моего отца. Мне нелегко будет расстаться именно теперь, накануне исполнения самых пламенных моих желаний, со Софронизбой, но она повелевает – я подчиняюсь, и подчиняюсь тем охотнее, что, если мне удастся спасти вас, новая, прекрасная звезда украсит мой небосклон.

– Но только скорее! – упрашивала Софронизба, судорожно схватившись за ручку кресла. – Вы должны повиноваться – я требую этого, я приказываю!

Моор поклонился, и дон Фабрицио продолжал:

– Мы трогаемся в путь в четыре часа утра. Вместо того чтобы обмениваться любовными клятвами, мы держали военный совет. Все уже обдумано. Через час к вам явятся мои слуги и потребуют портрет моей невесты. Вместо картины вы уложите в ящик ваш багаж. Около полуночи приходи-

те ко мне. У меня есть паспорта для меня, для шести слуг, для курьера и для моего духовника. Патер Климентий пока скроется у моей сестры, а вы, переодевшись в его платье, поедете со мной. Согласны?

– Я вам от души благодарен, но как быть с моим старым слугой и с Ульрихом?

– Старик молчалив, дон Фабрицио, – вмешалась Софронизба. – А если еще ему наказать, чтобы он не болтал... Без него художник не может обойтись.

– Ну, пускай он едет с вами, – сказал барон. – Что касается Наваррете, то ему придется помочь нам в наведении преследователей на ложный след. Король подарил вам дорожную коляску. Велите закладывать ее в половине двенадцатого и выезжайте в ней из Альказара. Перед моей квартирой вы остановитесь и останетесь у меня. Наваррете, которого все знают благодаря его великолепным русым кудрям, останется при карете и поедет на ней по дороге в Бургос. Это собьет с толку погоню. К тому же он ловок и отличный наездник. Дайте ему вашего собственного коня, серого андалузского жеребца. Если его все-таки настигнут...

Здесь Моор прервал барона и сказал твердо и решительно:

– Нет, платить за свое спасение этой молодой жизнью было бы гнусно. Прошу вас, откажитесь от этой части вашего плана.

– Да ведь нет иного спасения! – воскликнул сицилиец. – Не забудьте, что если не сбить их с толку, они непременно

возьмут ваш след, и тогда вы погибли!

– Однако все же... – начал было Моор, но Софронизба прервала его в сильном волнении восклицанием:

– Он вам всем обязан! Я знаю его. Где он?

– Обсудим дело хладнокровно, – предложил нидерландец. – Я не рассчитываю на милость короля, но, может быть, он в решительную минуту вспомнит о том, чем мы были друг для друга. Если же Ульрих станет добычей разъяренного льва, если его схватят...

– Я поручу моей сестре позаботиться о нем, – уверил барон.

Софронизба же распахнула дверь, торопливо вошла в мастерскую и стала громко звать:

– Ульрих! Ульрих!

Мужчины последовали за ней. Едва они переступили через порог, как услышали в ученической комнате голос Ульриха:

– Что там такое? Откройте дверь!

Дверь была открыта, и все трое увидели бледного юношу, который спрашивал дрожащим от волнения голосом:

– В чем дело? Что от меня требуется?

– Чтобы ты спас своего учителя! – воскликнула Софронизба. – Кто ты, трус, или же в груди твоей бьется благородное сердце художника? Боишься ли ты идти навстречу опасности, быть может, даже на смерть ради этого человека?

Юноша радостно воскликнул, как будто с его сердца сва-

лилась пудовая тяжесть:

– Нет, нет! И если бы даже вопрос шел о моей жизни – тем лучше! Я готов! Посылайте меня, куда хотите, делайте со мной, что хотите! Он дал мне все, а я... я невольно предал его. Я должен во всем сознаться, а затем – хоть убейте меня. Я разгласил, разболтал... как дурак, как дитя... то, что я вчера случайно увидел здесь. Я, я один виноват в том, что они его преследуют! Простите меня, учитель, простите меня! Делайте со мной, что хотите. Бейте меня, хоть убейте – я все равно буду благословлять вас!

При последних словах молодой художник упал на колени перед своим учителем и с мольбой протянул к нему руки. Моор наклонился к нему и произнес серьезно, но ласково:

– Встань, бедное дитя. Я не сержусь на тебя.

И когда Ульрих встал, он поцеловал его в лоб и сказал:

– В тебе и вот в ней я не ошибся. Дон Фабрицио, поручите Наваррете покровительству маркизы и объясните ему, чего мы от него желаем. Было бы невыразимо грустно, если бы моя необдуманность и его легкомыслие привели к печальным последствиям. Ему самому будет приятно исправить, по возможности, свою ошибку. Удастся ли тебе спасти меня, Ульрих, или же я погибну, – все равно, ты останешься моим милым и дорогим товарищем.

Ульрих со слезами кинулся на шею своему учителю и, узнав, чего от него требовали, весь просиял и объявил, что для него нет ничего завиднее, как умереть за дорогого

учителя.

Колокол придворной церкви ударил ко всенощной, и Софронизбе пришлось расстаться со своим учителем и другом, потому что она, как фрейлина королевы, обязана была сопровождать ее в церковь. Дон Фабрицио, из чувства деликатности, отвернулся, когда она стала прощаться с Моором.

– Если ты желаешь мне счастья, то сделай его счастливым. – шепнул ей учитель; она ничего не могла ответить и лишь кивнула головой. Он ее тихонько привлек к себе, поцеловал в лоб и сказал: – Есть жестокая, но все же утешительная поговорка: любить – сладко, отказываться от счастья – еще слаще. Ты до сих пор имела во мне друга; теперь ты имеешь и отца. Кланяйся твоим сестрам. Да благословит тебя Господь, дитя мое!

– И тебя, и тебя! – сквозь рыдания проговорила девушка. Так искренне, как в этот день, в богатой придворной церкви Альказара молилась Софронизба Ангвишола, вряд ли когда-либо кто-нибудь молился за другого. И, кроме того, невеста дона Фабрицио молилась еще о ниспослании ей внутреннего мира, спокойствия и силы, для того чтобы забыть первую свою любовь и исполнить то, что отныне стало ее долгом.

XIX

К исходу двенадцатого часа Моор сел в коляску, а Ульрих – на андалузского жеребца. Художник, сильно взволнованный, еще в мастерской простился со своим учеником, снабдил его на всякий случай кошельком с золотом и заверил, что он всегда найдет во Фландрии отца, отчий дом и любящего учителя.

Перед домом дона Фабрицио Моор вышел из коляски. Немного погодя, Ульрих с шумом захлопнул дверцы и громко крикнул кучеру, который уже привык к ночным поездкам Моора к королю: «Вперед!» У городских ворот их было остановили, но стража хорошо знала коляску королевского любимца и его белокурого ученика и без дальнейших затруднений пропустила ее. Сначала ехали быстро, потом дали лошадям вздохнуть. Кучеру он сказал, что Моор вышел на второй станции и проедет до Авилы верхом, вместе с королем, а коляске велел дожидаться его там.

Всю дорогу он думал меньше о себе, чем о своем учителе. Если погоня пустилась в путь только утром и направилась по его следам, то Моор спасен. Ульриху известны были названия лежавших по дороге к Валенсии городов, и он постоянно соображал: теперь он тут, теперь он там, теперь он подъезжает к Таракону.

К вечеру они достигли известной крепости Авилы, где он,

согласно уговору, должен был покинуть коляску и попытаться спастись самостоятельно. Ему предстояло проехать через крепость, окруженную высокими стенами и глубокими рвами. Миновать ее не было возможности. Крепостные ворота оказались заперты, и подъемный мост убран. Он смело крикнул часового и показал ему паспорт. Караульный офицер пожелал видеть Моора. Ульрих уверил, что тот едет сзади верхом; но этот ответ не удовлетворил начальника караула: он приказал ему слезать с коня и следовать за ним к коменданту.

Тогда Ульрих дал шпоры своему коню и поскакал по той дороге, по которой только что приехал; но раздался выстрел, и благородное животное пало мертвым; всадника же схватили, повлекли в караул и подвергли строгому допросу.

Возникло подозрение, что Ульрих убил художника и завладел его казной, так как при нем нашли кошелек с золотом. В то же время, когда его заковывали, высланная за Моором погоня прибыла в Авила. Начался допрос, сопровождавшийся пытками. Ульриху на голову надели мешок, который развязывали только для того, чтобы дать ему кусок черствого хлеба или глоток воды. Затем его крепко прикрутили к повозке, запряженной мулами, и поволокли в Мадрид по ужасной каменистой дороге. У него перехватывало дыхание, его кидало из стороны в сторону, он не в состоянии был ни говорить, ни мыслить; ему ежеминутно казалось, что настал его последний час, — но силы молодого организма бра-

ли верх, и он даже лишен был временного благодеяния обморока. Наконец его развязали и повели, не снимая, однако, с головы мешка, в маленькую темную каморку. Здесь с него сняли мешок, но зато наложили новые оковы.

Когда он остался один, и к нему возвратилась способность мыслить и рассуждать, он пришел к убеждению, что находится в темнице инквизиции. Вот эти отсыревшие стены, вот узкие деревянные скамейки, вот то окошечко в потолке, о которых он слышал. Вскоре ему пришлось убедиться в том, что он не ошибся.

В течение недели его оставляли в покое, и все это время он не переставал упрекать себя в измене и проклипать судьбу, которая уже во второй раз в жизни делала его причиной гибели друга и благодетеля. Он проклинал самого себя, и когда вспоминал о «слове», о «счастье», то скрежетал зубами и сжимал кулаки. Его молодая душа была смущена, озлоблена, выбита из колеи. Он не видел никакого спасения, надежды, утешения. Он пробовал молиться Богу, Спасителю, Богородице, святым, но и молитва его не успокаивала. Ему казалось, что они не чувствуют никакого сострадания к нему, положившемуся, как безумец, на свое счастье, и не желают помочь ему.

Но вскоре к нему возвратилась юношеская бодрость и способность молиться: он обрел и то, и другое на допросе, при пытке.

Прошли недели и месяцы. Он все еще сидел в душной

темнице, закованный в цепи, на хлебе и на воде, ежеминутно ожидая смерти; но, примирившись сам с собою, не унывал. На дыбе он, казалось ему, искупил свою вину и снова приобрел право на похвалу своего учителя, на одобрение живых, на прощение со стороны мертвых.

Руки и ноги его были жутко обезображены пыткой, и осматривавший их врач с удивлением покачал головой, когда эти раны стали заживать. Ульрих радовался им, потому что оставшиеся после них шрамы были живыми свидетелями того, что он не выдал своего благодетеля и сумел умолчать даже при жесточайшей пытке о том, куда скрылся Моор. Пусть они снова принимаются за свое дело, пусть жгут его и вытягивают из него жилы – от него они ничего не узнают.

И перед ним в ярких красках проносилось прошлое. Он видел, как наяву, свою без вести пропавшую матушку, и отца, и Руфь, и Пелликана. Моор ласково глядел ему в лицо. Особенно радостно становилось у юноши на душе, когда он вспоминал об искусстве и о своей последней работе, и он охотно пошел бы еще и еще раз на дыбу, если бы был уверен, что это даст ему возможность создать еще такие или лучшие произведения.

«Искусство!» – не это ли то пресловутое «слово»?.. Что означают в сравнении с ним жалкие земные дары счастья – красивые платья, вкусные яства, богато убранные покои и нежные взгляды прелестных глаз, расточаемые направо и налево? Лучше есть сухой хлеб и быть великим ху-

дожником, чем вести богатую, роскошную, но бесплодную жизнь!

Так проходили месяцы, и в эти месяцы Ульрих созрел более, чем при других обстоятельствах он созрел бы за целые годы.

Наконец настал день, когда благодаря влиянию маркизы Ромеро перед ним растворились двери тюрьмы. Его еще раз повели к допросу и убеждали сознаться; а затем вдруг, совершенно неожиданно для него, ему объявили, что он свободен. Тюремщик снял с него тяжелые оковы и помог ему надеть то платье, в котором он был схвачен. Затем на голову его снова накинули мешок и повели по лестнице и мостовой, по пыли и по траве в маленький двор заброшенного домика в одном из предместий Мадрида. Там они его бросили, и он прежде всего поспешил освободить свою голову из мешка.

Как приятно было дышать свежим, чистым воздухом, как радостно вздымалась его грудь! Он расправил руки, как собирающаяся лететь птица расправляет крылья, ударил себя ладонями по лбу и бросился из дворика на улицу так стремительно, как будто его опять собирались поймать и посадить в душную темницу.

Прохожие с недоумением смотрели на него, и не без основания, так как костюм его сильно пострадал во время поездки из Авилы в Мадрид, шляпа затерялась дорогой, а господа инквизиторы не позаботились заменить ее новой, считая совершенно достаточным, что они позволили Ульриху выне-

сти из тюрьмы свою голову. Кружевные воротничок и манжеты висели лохмотьями, роскошные белокурые волосы его в беспорядке ниспадали на плечи, лицо сильно исхудало, глаза как будто сделались больше, а на верхней губе и на подбородке выросли за это время усики и борода. Ему было всего восемнадцать, но на вид теперь можно было дать больше, и, судя по его серьезному и сосредоточенному лицу, следовало бы считать взрослым.

Ни у кого и ничего не спрашивая, Ульрих все бежал вперед. Наконец он попал на многолюдную улицу и умерил шаги. Полно, в Мадриде ли он? Да, несомненно в Мадриде, вон виднеется и хорошо известная ему синяя цепь Гвадаррамских гор, вот идет ему навстречу тореадор, которым он часто любовался в цирке, а вот и ворота, через которые он выехал из Мадрида вместе с художником.

Значит, он в Мадриде. Но что ему теперь делать? Хорошо, что ему вместе с одеждой возвратили и кошелек с деньгами. Он стал шарить по карманам, но вместо золотых нашел в кошельке лишь несколько серебряных монет, которых, как он хорошо помнил, у него не было. Он зашел в харчевню, спросил себе говядины и вина, которых не ел и не пил уже в течение нескольких месяцев, и решил разыскать дону Фабрицио.

Придя к дому последнего, он встретил у ворот привратника, который сначала грубо велел ему проходить; но когда он назвал свое имя, тот любезно пригласил его войти и объ-

явил ему, что дон Фабрицио со своей супругой гостят на даче у маркизы Ромеро; он прибавил, что господа вернутся во вторник и, без сомнения, окажут ему ласковый прием, ибо они уже несколько раз справлялись о нем. Привратник добродушно заметил, что, должно быть, молодой господин – иностранец, так как в Мадриде принято носить шляпу.

Тут только Ульрих вспомнил, что он все время разгуливал без шляпы; но прежде чем удалиться для покупки ее, он спросил привратника, не знает ли он, что стало с Моором?

Ура! Он был спасен. Несколько дней тому назад донья Софронизба получила от него письмо из Фландрии; это привратник знал наверняка, так как жена его служила горничной у госпожи баронессы.

Вне себя от радости и счастья, Ульрих поспешил купить себе шляпу и направился к Альказару. У ворот дворца стоял уже не старик Санто, отец прелестной Кармен, а новый молодой привратник, который встретил его очень грубо. Он сообщил, что Моор уже давно куда-то исчез, прибавив, что если он, Ульрих, не уйдет сейчас же, то он его отведет на гауптвахту как подозрительного человека, желающего проникнуть во дворец. Оскорбленный грубостью привратника, Ульрих стал возражать, и, слово за слово, между ним и привратником завязалась перебранка. В это время к воротам подошла красивая женщина, с черной мантильей на голове, с веткой гранатового цвета в волосах и на груди.

Ульрих тотчас же узнал ее: это была Кармен, вышедшая замуж за нового привратника и принесшая ему в приданое должность своего отца.

– Кармен! – воскликнул Ульрих, заметив красивую молодую женщину, и затем самоуверенно прибавил: – Эта сеньорита знает меня.

– Я? – спросила Кармен, сделав презрительную гримасу и оглядывая не блестящий костюм молодого человека. – Я вас не знаю. Кто вы такой?

– Я ученик Моора, Ульрих Наваррете. Неужели вы не помните?

– Вы ошибаетесь; я вас не знаю. – И с этими словами она закрыла свой веер и пошла дальше.

Ульрих пожал плечами и обратился к привратнику вежливее, чем прежде. К счастью для него, к воротам подошел камердинер живописца Челло, занимавшего теперь квартиру Моора, который изъявил готовность доложить о нем своему господину.

Ульрих последовал за приветливым Пабло во дворец, и на каждой ступени ему припоминалось то или другое из прежней его жизни; а когда он вошел в переднюю, и из соседней комнаты на него пахнуло запахом масляной краски, он потянул в себя воздух с таким удовольствием, как час тому назад чистый Божий воздух.

Какой прием ожидал его? Захочет ли придворный живописец оказать покровительство ученику и любимцу впавше-

го в немилость Моора? Челло не был похож на фламандца; это был человек минуты, постоянно сообразовавшийся с обстоятельствами, то гордый и надменный, то веселый и общительный. Каков-то он сегодня? Но Ульриху некогда было долго размышлять, так как вскоре после того как его покинул Пабло, дверь распахнулась, и все семейство Челло радостно поспешило ему навстречу. Изабелла впереди всех, за нею следовал Санчес, далее сам Челло, потом тучная, расплывшаяся мать семейства, которую Ульрих ранее редко видел, потому что она почти весь день проводила в своей постели; позади всех шла дуэнья Каталина с кисло-сладкой улыбкой на устах.

Прием, оказанный ему, был самым радушным и сердечным. Изабелла схватила его руку обеими руками, как бы желая убедиться, действительно ли это он, и затем, пристально взглядевшись в него, задумчиво покачала головой. Санчес обнял его и стал кружиться с ним по комнате, отец крепко жал ему руки, а мать обратилась к старой дуэнье и воскликнула:

– Боже, что случилось с этим красавцем-юношей! Как он похудел! Ступай сейчас к Диего на кухню, Каталина, и принеси ему чего-нибудь поесть и попить.

Наконец его повели в соседнюю комнату. Мать тотчас же грузно опустилась на диван, а другие стали расспрашивать его о том, что с ним было, откуда он попал к ним, и многое другое.

Ему уже не хотелось есть, но тем не менее госпожа Петра заставила его уничтожить целого каплуна, поставленного прямо ему на колени. На лицах всех присутствующих выражалось участие, одобрение, сострадание; наконец Челло сказал:

– Теперь ты останешься у нас, Наваррете. Король, конечно, все еще сердит на Моора, но у нас ты будешь в безопасности. Тебя ко мне точно небо послало. Я только что хотел выписать себе помощника из Венеции. Конечно, ты можешь оставаться в таком виде, но благодаря Святой Деве и Моору у тебя не будет недостатка в деньгах. Их у нас найдется порядком. Донья Софронизба вручила мне для тебя сто дублонов²⁵, вон они лежат там в шкафу и с нетерпением поджидают тебя. Они в твоём распоряжении. Твой учитель, мой учитель, великий учитель всех художников, наш Моор переслал их тебе. В таком виде я тебя уже не выпущу на улицу. Смотри-ка, Изабелла, вон рукав болтается на двух ниточках, а локоть запросил есть. Легонькая одежда, нечего сказать. Санчес, ты сейчас же отправляйся с ним к портному, к Оливерию... или нет, не сегодня: сегодня мы все останемся здесь, все вместе. И Геррера придет из Эскуриала. Не правда ли, дамы не взыщут за неблестящий костюм? Да, и вот еще что! Кто же выберет бархат и кружева для нашего молодого щего-

²⁵ Дублон (от исп. *doble* – двойной) – старинная золотая испанская монета, содержащая 7,5 г чистого золота (вдвое больше, чем в ранее обращавшейся кастильской монете – отсюда ее название). В Испании дублон чеканился до 1868 года.

ля? Ведь он всегда любил хорошо одеваться. Я как будто сейчас вижу улыбающееся лицо Моора при виде придуманных Наваррете сборок и бантов. Ну хорошо, мой милый, что ты отыскался. Мне бы следовало заколоть теленка по случаю возвращения блудного сына, но мы люди маленькие, вместо теленка – каплун, и то сойдет! Но ты ничего не пьешь. Изабелла, да налей же ему! Ай, ай, ай, а эти шрамы на шее и на руках! Потребуется немало кружев для того, чтобы прикрыть их. Нет, брат Ульрих, это почетные рубцы, и ты можешь гордиться ими! Дай-ка я поцелую этот широкий шрам на шее. Ты славный, храбрый юноша, и увидишь, когда-нибудь явится красавица, которая последует моему примеру. Ах, если бы Антонио был здесь! Вот тебе еще один поцелуй за него, и еще, и еще. Прими эти поцелуи не от меня, а от имени искусства, которому ты сохранил великого Моора.

Поцелуй художника от имени искусства – это было лучше, чем поцелуй прекрасной Кармен.

Челло сам был замечательным художником, и между ним, Моором и архитектором Геррерой, который не замедлил прибыть, существовали самые дружеские отношения.

С каким радостным чувством Ульрих в этот день улегся в постель, как легко ему было молиться и какой подробный отчет он отдавал в уме далеким, но милым ему существам о своих приключениях!

На следующее утро он отправился с туго набитым ко-

шельком в город и вернулся в квартиру Челло в новом, красивом костюме, с подстриженными и тщательно расчесанными локонами. Цирюльник красиво закрутил ему кверху его пробившиеся усики. Правда, он был несколько худощав, но в нем уже виделся будущий красавец-мужчина.

XX

Около полудня Челло позвал Ульриха в большую мастерскую Моора. В ней уже не царствовал прежний порядок, замечалось отсутствие заботливой руки Софронизбы. Мольберты с незаконченными картинами и эскизами стояли в разных углах; платья, ковры, оружие разбросаны были по столам, креслам и даже на полу; на камине и на статуе Юлия Цезаря висели завядшие лавровые венки. Между мольбертами расхаживали шесть любимых кошек живописца, а седьмая, только что окотившаяся белая кошечка, лежала на особо сделанной для нее кроватке и кормила своих котят. Два желто-синих попугая и несколько какаду качались в медных кольцах перед растворенным окном и неистово кричали, а слуга-негр ползал по полу и вытирал его мокрой тряпкой, по временам радостно улыбаясь, потому что Челло имел обыкновение распевать за работой, а негр был большой любитель музыки. Словом, нельзя было узнать тихой, скромной, содержавшейся в порядке мастерской фламандца.

Но и в этом хаосе создавались великие художественные творения. У испанца была даже большая сила воображения и большая образность, чем у трезвого, несколько холодного сына Голландии. Но зато в его произведениях было менее глубины и искреннего чувства.

Челло подозвал юношу к мольберту и сказал, указывая на пеструю картину, над которой он работал:

– Видишь ли, мой друг, вот это будет битва кентавров, а вот то – парфянские всадники, святой Георгий, поражающий дракона, а крестonosцы только что начаты. Король желает также иметь апокалипсических всадников. Нечего делать, завтра же примусь за них. Все это предназначается для стен и потолка нового зимнего манежа. Трудно одному справиться со всей этой работой; просто приходится разорваться; я-то работаю за двоих, – что я говорю, за двоих! за четверых! У Дианы Эфесской было несколько грудей, а у Цербера – три головы. Мне же природа дала только две руки. Я нуждаюсь в помощнике, и ты можешь быть мне полезен. Вас еще не учили писать лошадей, как говорила мне Изабелла; но ты сам полукентавр. Так вот, примись пока за коней и, когда ты кончишь, отнеси полотно в манеж. Я уже там подправлю твою работу.

Это приглашение скорее озаботило, чем обрадовало Ульриха. Он выразил сомнение в том, удастся ли ему справиться с поручаемой ему работой, и откровенно высказал желание поехать к Моору в Нидерланды и заниматься там, под его руководством, письмом с натуры. Но Челло не дал ему докончить.

– Я видел написанный тобой портрет Софронизбы. Ты уже не ученик, а многообещающий художник. Моор – отличный портретный живописец, а ты немногим ему усту-

паешь. Но в искусстве нельзя быть односторонним. В его область входит все, что живет. Что создало славу Апеллеса²⁶ – его Афродита или его конь, – трудно сказать. Не нужно только копировать, надо создавать самому. Моор говорил мне, что у тебя большая сила воображения. Нужно пользоваться тем, что кому дано. Антонио заставлял тебя слишком долго рисовать моделей. Талант, смелость, прилежание – вот что необходимо художнику; а у тебя ни в том, ни в другом, ни в третьем нет недостатка; остальное же дается само собой. Смотри-ка, вот эти написанные мной лошади совсем недурны – а я до тех пор не изображал лошадей, пока не пришлось написать портрет короля верхом на коне. Ступай завтра в конюшню и всмотришь хорошенько в чистокровных лошадей, а затем отправляйся на живодерню и изучи там кляч: они пригодятся тебе для апокалипсических всадников. Итак, за дело! Пора, чтобы ты сам начал зарабатывать себе хлеб.

Ульрих послушался совета нового учителя, принялся писать лошадей и кляч, а немного погодя стал работать в манеже, конечно, под руководством Челло. Чем больше продвигалась вперед работа, тем усерднее он занимался. Ему нрави-

²⁶ Апеллес – выдающийся мастер греческой монументальной живописи второй половины IV века до н. э. Был придворным художником Александра Македонского; писал темперой на деревянных досках. Достиг совершенства, умело используя эффект светотени и графическую перспективу. Произведения Апеллеса не сохранились, по описаниям наиболее известны «Афродита Анадномена» (выходящая из моря), портрет Александра в образе Зевса, аллегорическая картина «Клевета».

лась эта дьявольская жизнь и приятная усталость после усиленной работы; но порой ему казалось, что путь к вершине искусства должен быть труднее и утомительнее. Иногда ему недоставало упреков строгого своего первого учителя, а расточаемые ему похвалы за работу, которой он сам был недоволен, удивляли и даже смущали его.

С Изабеллой он все более и более сближался. Она обожала его и как красивого юношу, и как будущего великого художника. Ей хотелось постоянно бывать в его обществе, но она с полным самоотвержением созналась, что ее отец, при его многосторонней деятельности, не может быть таким же хорошим руководителем для Ульриха, как Моор, и что для молодого человека было бы полезнее по окончании работ в манеже поехать к первому своему учителю в Нидерланды. Он же радостно соглашался с ней, тем более что получил через Софронизбу письмо Моора, радушно приглашавшего его в Антверпен.

Супруга дона Фабрицио, вернувшись в Мадрид, поспешила пригласить юношу к себе, и он нашел в молодой женщине то же участие и расположение, как прежде в молодой девушке. Только ее прежний шутливый и слегка задирающий тон сделался более серьезным. Она заставила его подробно рассказать, что он вытерпел из-за Моора, чем он занимается, какие планы имеет относительно будущего. Она не раз навещала его так же в манеже, следила за его работой и просила его показывать ей свои рисунки и эскизы.

Однажды она попросила Ульриха рассказать о своем детстве. Он охотно удовлетворил ее просьбу, причем, конечно, не умолчал и о пресловутом «слове», прибавив, что, как ему кажется, он в тюрьме наконец нашел заветное «слово», и теперь искусство навсегда останется его путеводной звездой. Ее щеки покраснелись, и она воскликнула со страстностью и воодушевлением, которых он и не подозревал в ней:

– Да, Ульрих, да! Ты отыскал настоящее слово. Искусство – вот это слово! Кто ему служит, кто для него живет и дышит – для того нет ничего низменного, тот высоко парит над миром. Искусство – вот мост, соединяющий человека с божеством, открывающий ему доступ в лучезарные просторы! Это слово все оживляет; оно способно даже вызвать ростки на сухом дереве измученной и изверившейся души. Жизнь – это тернистый розовый куст, а искусство – это цветы на нем. Здесь у нас искусство не может расти привольно; оно хиреет и чахнет, как тепличное растение. Но есть страна – и эта страна моя родина, – где оно растет и распускается пышным деревом. Страна эта – Италия. Вот куда ты должен ехать, вот где тебе откроется необозримый простор!

В Италию! И это сказала Софронизба! На родину Тициана, Рафаэля, Буонарроти! Туда, где учился сам Моор! Ему казалось, что «слово» перенесло его прямо на небо.

Ульрих ушел от Софронизбы точно в каком-то опьянении. И что теперь еще могло удерживать его в Мадриде? Оставленный ему Моором кошелек еще далеко не иссяк, а в Ита-

лии ему поможет пробить себе дорогу сила «слова».

Юноша немедленно сообщил Челло о своем намерении, сначала в скромной, затем в более решительной форме. Но придворный живописец не отпускал его. Он охотно допускал, что Ульриху когда-нибудь следует побывать в Италии, но, по его мнению, теперь для того еще не наступило время. Пусть-ка он сначала окончит принятую на себя работу в манеже, а затем уж едет в Италию. Покидать теперь своего учителя, заваленного работой, было бы неблагодарно с его стороны.

Ульриху пришлось смириться и продолжить свою работу. Но теперь он работал уже без удовольствия. Он постоянно мечтал об Италии – и только об Италии! Каждый час пребывания его в Мадриде казался ему потерянным временем. Он стал скучать и искать развлечений, которые находил, между прочим, в фехтовальном зале, куда они часто заглядывали с Санчесом Челло. У него был верный глаз, гибкая кисть руки, сильные мышцы, унаследованные им, очевидно, от отца, и, таким образом, он вскоре сделался едва ли не лучшим бойцом на рапирах, возбуждая этим, а также изяществом своих манер удивление и уважение всех завсегдатаев – молодых испанцев. Они стали приглашать молодого художника к себе, звали его на свои пирушки, но все их просьбы оставались тщетны: Ульрих не нуждался в собутыльниках, а свои деньги он приберегал для Италии.

Вскоре Ульриха стали считать надменным чудачком, с ко-

торым, однако, небезопасно было затевать ссору. Его поэтому оставляли в покое, чему он был очень рад. Он один-одинешенек бродил ночью по улицам, распевал серенады и имел не одну дуэль с разными кабальеро, переступавшими ему дорогу.

Юноша не сообщал никому об этих своих ночных похождениях; даже Санчес Челло ничего не знал о них. Они доставляли ему внутреннее удовольствие, волновали его кровь и давали ему сознание превосходства в силе. Подобный образ жизни способствовал развитию в нем сознания собственного достоинства. Ему пошел уже двадцатый год, он был ростом выше всех кастильцев и держался так же гордо, как любой гранд. Тем не менее он не был доволен собой, так как работа его медленно продвигалась вперед; он находил, что Челло только даром отнимает у него драгоценное время и что в Мадриде все равно ничему нельзя научиться.

Наконец работы в манеже стали близиться к завершению. Они потребовали гораздо более времени, чем год, за который предполагалось их окончить. Нетерпение Филиппа наконец до того усилилось, что Челло пришлось забросить все свои остальные работы и заняться исключительно росписью стен и потолка Манежа и исправлением работ Ульриха. Наконец сняты были подмости, на которых Ульрих и Челло в течение многих месяцев расписывали потолок, находясь в лежачем положении. Оставалось только дописать кое-что на стенах, как вдруг придворному живописцу приказано бы-

ло прекратить работы и убрать поскорее все стропила, лестницы и помосты, загромождавшие манеж.

Оказалось, что манеж понадобился для иной цели и что на Челло возлагалась новая работа. Дон Хуан Австрийский, незаконнорожденный брат короля, только что начал свою геройскую карьеру и подавил восстание мавров в Гренаде. Молодому победителю готовилась торжественная встреча, и Челло поручено было расписать в кратчайший срок выстроенную по этому случаю триумфальную арку. В несколько дней были окончены эскизы для арки, возведенной во дворе Альказара, потому что подозрительный король решил встретить и чествовать триумфатора здесь, в тесном придворном кружке, а не публично, на глазах у всего народа.

Ульриху опять пришлось помогать Челло при исполнении эскизов. Все было готово вовремя, торжественная встреча дона Хуана вышла как нельзя более удачной, среди всевозможных крестных ходов, турниров, боев быков. Ульрих и его учитель снова принялись за работы в манеже, которые могли быть окончены и без подмостков.

Однажды, когда Ульрих работал, стоя на лестнице, а Челло был чем-то занят внизу, двери манежа неожиданно распахнулись, и в него явились придворные кавалеры и дамы, конные и пешие. Дон Хуан и его молодой племянник Алесандро Фарнезе, герцог Пармский, ехали впереди всех. Ульрих стал любоваться этим блестящим шествием и в особен-

ности величественной и красивой фигурой молодого героя. Ему казалось, что он никогда не видел такого прекрасного юноши. Дон Хуан остановился прямо против него и снял шляпу. Густые, зачесанные назад белокурые волосы спускались на плечи; в чертах его лица женственная красота сочеталась с мужественной силой.

Когда он, сняв шляпу, легко, без посторонней помощи соскочил с лошади, чтобы приветствовать известную придворную красавицу герцогиню Медина-Селли, Ульрих не мог оторвать глаз от этого почти сказочного богатыря, отцом которого был могущественный император Карл V, матерью же – простая немецкая прачка.

Дон Хуан учтиво попросил своих спутников удалиться в глубину манежа, помог дамам сойти с коней, провел их на трибуну, снова спустился на арену, дал какие-то приказания офицерам своей свиты и затем опять принялся болтать с окружавшими его дамами, герцогом Фарнезе и грандами. Вслед за тем вблизи манежа послышались громкие крики и конский топот, и в манеж были введены девять великолепных неоседланных андалузских жеребцов, захваченных доном Хуаном у побежденных мавров.

По всему манежу пробежал ропот одобрения, который еще более усилился, когда ввели десятого, молодого вороного жеребца, которого едва могли сдержать двое дюжих мавров. Дон Хуан обратился к Алессандро Фарнезе и сказал:

– Что за великолепный конь! Но, к сожалению, по харак-

теру это сущий черт; мы его и прозвали Сатаной. Он никому не позволяет оседлать себя. Вот он опять становится на дыбы! Как я могу предложить коня его величеству? Посмотри-ка на эти глаза, на эти ноздри. Сущий черт!

– Да, но зато великолепный черт. Лучшего нельзя и придумать! – с восхищением воскликнул герцог. – Эта голова, эта шея, этот круп, эти ноги!.. Ого-го, однако он шутить не любит!

Злой жеребец в третий раз встал на дыбы и передним копытом задел одного из мавров. Тот, громко вскрикнув, упал на землю, другой мавр не в состоянии был один удержать его, и разъяренное животное пустилось скакать по всему манежу и бить задом, засыпая песком и пылью глаза дам, сидевших на эстраде. Те стали громко кричать, и крики их еще более раздражали разгоряченное животное. Некоторые из придворных кавалеров поспешили прижаться к стене; шталмейстер кричал, чтобы поскорее уводили остальных лошадей. Посреди арены остались только дон Хуан и герцог Фарнезе.

– Черт возьми! – вскричал первый, выхватывая шпагу. – Я убью этого аспида! – И он ринулся догонять жеребца. Но тот большими скачками уклонялся то в одну, то в другую сторону, осыпая песком сидевших на трибуне.

Тогда Ульрих не смог утерпеть на своей лестнице. Он поспешно слез с нее и смело, в сознании своего умения объезжать самых диких лошадей, вышел на середину арены, спокойно пошел навстречу покрытому пеной жеребцу, ото-

гнал его немного назад, последовал за ним, подождал, пока тот опять оборотился к нему мордой, и, осторожно подойдя к нему сбоку, смелой и твердой рукой схватил его за ноздри. Сатана кидался из стороны в сторону, пытаясь высвободиться, но сын кузнеца крепко держал его за морду, точно клещами, дул ему в ноздри, поглаживал его рукой по голове и морде и шепотом говорил ему на ухо какие-то ласковые слова. Конь стал понемногу успокаиваться. Он сделал было еще одну попытку вырваться из железной руки своего укротителя, но когда это не удалось, он далеко вытянул вперед передние ноги, стал дрожать и сразу присмирел.

– Браво! Брависсимо! – воскликнула прекрасная Медина-Селли, и от похвалы из этих прекрасных уст Ульрих точно опьянел. Он унаследовал от матери страсть порисоваться, и поэтому его подмывало совершить нечто большее. Он осторожно обмотал левую руку гривой жеребца, отнял правую руку от его ноздрей и ловким движением вскочил ему на спину. Гордое животное, правда, пыталось сбросить с себя седока, но Ульрих сидел крепко, нагнул над шеей коня, снова погладил его по голове, взял его в шенкеля – и немного спустя, без мундштука и уздечки, гарцевал на нем по манежу, заставляя его шенкелями идти то шагом, то рысью, то галопом. Наконец он соскочил с Сатаны, ласково потрепал его по шее и подвел на недоуздке к дону Хуану.

Тот окинул статного смелого юношу быстрым взглядом и сказал, обращаясь наполовину к нему, наполовину к Алес-

сандро Фарнезе:

– А ведь знатная штука, ей-богу!

Затем он подошел к жеребцу, погладил его по блестящей шее и продолжал, обращаясь к Ульриху:

– Благодарю вас, молодой человек. Вы спасли лучшую мою лошадь. Не будь вас, я бы заколол Сатану. Вы живописец?

– Так точно, ваше высочество.

– Ваше искусство – занятие почтенное, и я рад, если оно вам нравится. Но недурно было бы вам послужить у меня в кавалерии, и там можно приобрести почести, славу и богатство. Поступайте-ка ко мне.

– Нет, ваше высочество, – отвечал Ульрих, низко кланяясь. – Если бы я не был живописцем, я бы охотно сделался солдатом. Но искусству я не желаю изменять.

– Похвально, похвально! Однако вот что. Как вы полагаете: окончательно ли укрощен Сатана, или его капризы завтра же снова повторяются?

– Быть может. Но дайте мне недельный срок, и он у меня сделается шелковый. Для этого мне нужно будет заняться с ним часок каждое утро. В ягненка он, конечно, никогда не превратится, но все же из него выйдет послушная, хотя и горячая лошадь.

– Буду очень благодарен, если это вам удастся. На будущей неделе приходите ко мне. Если вы принесете мне благоприятные известия, я буду рад оказаться вам полезным.

План Ульриха был прост: неделя скоро пройдет, и тогда он попросит королевского брата послать его в Италию. Дон Хуан был человек щедрый и великодушный – это признавали даже его недруги.

По прошествии недели конь был окончательно выезжен и отлично ходил под седлом. Дон Хуан благосклонно выслушал просьбу Ульриха и даже предложил ему совершить переезд в Италию на казенном судне, вместе с секретарем и чрезвычайным послом короля, де Сото. Еще в тот же день счастливицу был вручен перевод на имя одного банкирского дома на Риальто. Значит решено – он едет в Италию!

Челло пришлось уступить, и он даже простер доброту свою до того, что снабдил Ульриха рекомендательным письмом к своим приятелям в Венеции и убедил короля послать подарок великому Тициану. Посланнику поручили передать этот подарок, а придворный живописец взял с него обещание, что он при этом случае порекомендует Ульриха Наваррете престарелому художнику.

Все было готово к отъезду. Ульрих снова стал укладываться, но на этот раз он делал это с совершенно иным чувством, чем перед своим отъездом с Моором. Теперь он уже возмужал, он нашел истинное «слово», жизнь ему улыбалась, а в скором времени перед ним должны были открыться широкие двери искусства.

Ему самому казалось, что в Мадриде он научился только азбуке и что только теперь начнется серьезное учение. В Ита-

лии он делается настоящим художником, там-то он серьезно примется за работу. И он стал рвать свои прежние наброски и кидать их в камин.

В это самое время в комнату вошла Изабелла. Ей уже исполнилось шестнадцать лет, и она вполне сложилась, хотя осталась маленького роста. Из круглого личика выглядывали большие серьезные глаза, между тем как на розовых губках по-прежнему играла плутовская улыбка. Быть может, вследствие ее небольшого роста Ульрих продолжал относиться к ней не как к молодой девушке, а как к ребенку.

Сегодня она была бледнее обыкновенного, и личико ее было так серьезно, что юноша сначала посмотрел на нее с удивлением, а потом участливо спросил:

– Что с тобою, Белочка? Ты больна?

– Нет, здорова, – поспешно ответила она. – Но мне нужно кое о чем с тобой поговорить.

– Ты хочешь исповедовать меня, Белита?

– Перестань шутить. Я уже не ребенок. Мне щемит сердце, и я не должна скрывать от тебя причину этой боли.

– Ну так говори, говори скорее. На что ты похожа! Просто становится страшно за тебя.

– Нечего бояться. Тебе никто не скажет правду. Но я... я люблю тебя, и поэтому я скажу ее, пока еще не ушло время. Не прерывай меня, а то я спутаюсь... а мне нужно высказаться.

– Мои последние работы не понравились тебе? И мне то-

же. Отец твой...

– Он повел тебя по ложному пути; теперь ты едешь в Италию, и когда ты там увидишь, что создали великие художники, ты сейчас же захочешь подражать им и забудешь уроки нашего общего учителя Моора. Я знаю тебя, Ульрих! Но я знаю так же и кое-что другое, и вот это-то я и должна высказать тебе. Если ты сразу примешься за писание больших картин, если ты не удовлетворишься пока скромной ролью ученика, то никогда не сделаешься великим художником, не напишешь ни одной картины подобной портрету Софронизбы. Поверь моему слову! А ты знаешь, что ты должен сделаться великим художником, что ты это можешь?

– Я сделаюсь им, Белочка, сделаюсь!

– Хорошо, хорошо, но только со временем; а пока превратись опять в ученика. Я бы на твоём месте поехала в Венецию, немного осмотрелась бы там, а затем все же отправилась во Фландрию к дорогому нашему учителю, к Моору.

– Оставить Италию! Да ты шутишь! Твой отец сам сказал мне, что я... ну да, что в живописи я кое-что да значу. И наконец куда же отправляются учиться сами нидерландцы? В Италию, все в ту же Италию! Что они пишут у себя во Фландрии? Портреты, одни только портреты! Моор – великий мастер в этой области, но я шире смотрю на искусство, вижу его более высокие задачи! У меня в голове масса планов и замыслов. Подожди только, подожди! В Италии я научусь летать, и когда я окончу свое Святое Семейство и свой

храм искусств, тогда...

– Тогда – ну, что тогда?

– Тогда ты, может быть, изменишь мнение обо мне и навсегда прекратишь свои наставления. Меня они просто бесят! Они отравляют мне жизнь, мешают мне работать. Ты, ты...

Изабелла печально опустила голову и молчала. Ульрих подошел к ней и сказал:

– Я не хотел огорчить тебя, Белита, право, не хотел! Я знаю, что ты желаешь мне добра и любишь меня, бедного, жалкого бобыля. Не правда ли, моя девочка, так ли?

– Да, Ульрих, и именно потому-то я и говорю тебе, что думаю. Вот ты теперь стремишься в Италию...

– Конечно, стремлюсь. Но я и там буду вспоминать о тебе и о том, какое ты милое, умное маленькое существо. Расстанемся друзьями, Изабелла. А лучше всего, знаешь, поедем-ка вместе!

Она вся вспыхнула и прошептала:

– Очень охотно!

Эти слова прозвучали так искренне, сказаны были так от души, что произвели на юношу глубокое впечатление, а в то же время глаза ее смотрели на него с такой любовью, что для него все сразу стало ясно. Он прочел в них любовь искреннюю, преданную любовь, конечно, не такую, какую читал в глазах хорошенькой Кармен или дам, бросавших ему цветы с балконов. Им овладели неопишуемая ра-

дость и благодарность, он обхватил ее талию и привлек к себе. Она не сопротивлялась, и он, сам не зная, как это случилось, поцеловал ее в алые губки, она же обвила его шею своими маленькими ручками и созналась, что давно любит его. Он стал уверять ее взволнованным голосом, что всегда считал ее добрым, милым, умным существом; но он только забыл сказать ей, что любит ее. Она, впрочем, была счастлива и без того; она была обрадована, его же радовало сознание, что он любим. Они продолжали обмениваться поцелуями и не заметили, как отворилась дверь в мастерскую и как Челло, полусердясь, полусмеясь, остановился на пороге и смотрел на них с минуту, покачивая головой. Они очнулись только, когда до их слуха донесся густой бас художника:

– Ну и ну! Вот так дела!

Они вздрогнули, отпрянули друг от друга, и смущенный Ульрих не без труда пробормотал:

– Мы... мы хотели... на прощание.

А Изабелла кинулась к отцу на грудь и воскликнула со слезами:

– Прости, отец, прости! Я люблю его, а он любит меня. Теперь, когда я это знаю, я уже не боюсь за него. Он будет работать, а когда он возвратится...

– Довольно, довольно! – остановил ее Челло и зажал ей рукою рот. – И это моя ученица Белита! И для этого-то я нанимаю ей дуэнью! А вот тот молодец... Что у него ничего нет, это совсем не беда! Я сам посватался к твоей матери

с тремя реалами в кармане. Но Ульрих не доучился, а это совершенно меняет дело. Поверь мне, Наваррете, если ты честный малый, ты оставишь девушку в покое и не будешь видиться с нею до отъезда. Сначала поучись-ка хорошенько в Италии и сделайся настоящим художником, а там мы посмотрим. Ты малый смазливый, и кто знает, что тебя ожидает в Италии! Ведь и там много женщин, да еще куда очаровательнее этой девчонки. Давай руку! Уговор дороже денег: через полтора года мы ждем тебя и посмотрим, что из тебя вышло. Если ты оправдаешь мои надежды, бери ее, нет – слуга покорный. Не так ли, моя глупая, неразумная влюбленная Белита? А теперь, марш в свою комнату, а ты, Наваррете, пойдешь со мной!

Ульрих пошел за художником в его спальню. Челло отпер шкатулку, наполненную золотом, взял, не считая, две пригоршни дублонов и сказал, отдавая Ульриху деньги:

– Вот это – твой заработок, а это тебе от меня в подарок. Учись хорошенько. Не кружи голову девочке, а если ты это сделаешь, то... Но нет, ты не похож на шалолая.

В квартире художника стоял дым коромыслом. Даже его ленивая супруга разошлась и почему зря бранила Изабеллу. Геррере, первому архитектору в Испании, давно уже нравилась молодая девушка, он не скрывал этого, и вдруг этот молокосос! Она обзывала своего мужа простофилей и несколько дней не могла успокоиться. Но художник решил остаться при своем слове и отдать Изабеллу в жены Ульриху, если тот

через полтора года возвратится из Италии хорошим и дельным живописцем.

XXI

Адмиральский корабль, на котором отправился в Венецию чрезвычайный посол короля Филиппа, благополучно достиг порта назначения; но штормы и противные ветры задержали его, и из всех пассажиров только Ульрих не страдал морской болезнью. Но зато расположение духа его было самое мрачное, и он по целым часам расхаживал на палубе в печальной задумчивости или, перегнувшись через борт, смотрел в морскую пучину. При виде этого невеселого, молчаливого юноши никто не подумал бы, что он стоит накануне осуществления самых смелых своих мечтаний.

Он сам себе удивлялся, так как собирался в Италию в совершенно ином настроении; он ехал с тем, чтобы исколесить ее вдоль и поперек, чтобы все видеть, со всем ознакомиться и затем уже выбрать себе учителя среди великих художников. Он надеялся, что родина Софронизбы сделается второй его родиной, и ему не приходило на ум заранее ограничивать срок своего пребывания там.

Обстоятельства складывались совершенно иначе. Еще в Валенсии, прежде чем сесть на корабль, его радовала мысль, что вскоре ему можно будет назвать Изабеллу своей, но во время продолжительного и скучного переезда его намерения изменились. Чем больше он удалялся от берегов Испании, тем более тускнел образ Изабеллы и тем ме-

нее привлекательным казалось ему обладание ею. Он даже радовался тому, что отдалялся от ее постоянного внимания, а когда он представлял себя идущим по улице под руку с маленькой и невзрачной Изабеллой, его даже разбирала досада. Он воображал себя каторжником, который осужден вечно влачить за собою тяжелое ярмо. Но бывали и такие минуты, когда он ясно видел перед собою ее добрые светлые глаза и алые губки, и тогда находил, что приятно обнимать и целовать ее, а так как Руфь все равно для него навсегда потеряна, то ему трудно будет найти более любящую и преданную жену.

Но на что ему, ученику, странствующему художнику, жена? Самая лучшая из жен могла бы стать только помехой. К этому присоединилось еще неприятное сознание, что ему предстоит еще продолжительный искуc, а затем – нечто вроде экзамена, унижительного испытания. Порою у него было желание отослать Челлю его дублоны и написать ему, что он поторопился, что он не любит его дочь. Но его удерживала мысль, что это убьет бедную девушку; к тому же он не хотел быть человеком бесчестным, неблагодарным, и он испытает на себе власть этой богини, о которой так восторженно говорила Софронизба!

Посол и его секретарь считали Ульриха наивным мечтателем; но тем не менее секретарь по прибытии в Венецию, пригласил его остановиться у него на квартире, так как дон Хуан поручил ему заботиться о молодом человеке. От него

не укрылась печаль красивого юноши, и он попытался расспросить его о причине; но Ульрих не стал объяснять и только отвечал в общих выражениях, что у него на сердце тяжелая забота.

– Теперь не время грустить! – воскликнул де Сото. – Послезавтра начинается карнавал. Побольше бодрости. У меня, конечно, не меньше забот, чем у вас, а я же не вешаю голову. Бросьте-ка все ваши заботы в Большой канал и представьте себе, что на землю спустился рай.

То, что для земли представляет весна, то представляет для Венеции время карнавала, захватывающего все в шумный, пестрый водоворот. Де Сото всячески старался втолкнуть Ульриха в этот водоворот. В гондолах, в уличной сутолоке, в танцевальных залах, за обеденным и игорными столами – всюду молодой расфранченный златокудрый художник, приближенный испанского посла, обращал на себя внимание мужчин и, в особенности, женщин. Все спрашивали друг друга, кто он и откуда явился. Ульрих с удовольствием окунулся в бездну удовольствий и в скором времени имел полное право хвалиться своими успехами у прекрасных венецианок. Как часто ему приходилось слышать восклицания:

– Прелестная парочка! Посмотрите-ка!

Бедная Изабелла! Ты была совершенно забыта; точно так же забыты были на время и «счастье», и «искусство». Ульрих не призывал уже своего «слова». Он играл необыкновенно счастливо. Быстро приобретенное золото столь же

быстро расходовалось, а затем снова возвращалось в его кошелек, как голуби в голубятню.

Но наконец карнавал кончился, и на первой неделе поста посол отправился с Ульрихом к великому Тициану, который принял его очень ласково. Ульрих не мог наглядеться на все еще красивые черты девяностолетнего старика, на длинную белую его бороду, на светлые пронизательные глаза. Голос его звучал несколько меланхолично, но необыкновенно приятно.

Юноша дрожащим от волнения голосом отвечал на вопросы знаменитого художника, который радушно пригласил его остаться у него обедать. Когда его сосед стал перечислять все сидевшие вместе с ним за столом знаменитости, Ульриху показалось, что в сравнении с ним он такое ничтожество, такая мелюзга, что он едва решался касаться подаваемых ему блюд и наливаемого вина. Он смотрел, слушал; до его слуха не раз долетало имя его первого учителя, которого присутствующие без малейшей зависти называли выдающимся портретистом. Юношу расспрашивали о здоровье Моора, и он отвечал, хотя и не без смущения.

Наконец гости встали из-за стола. Февральское солнце светило в высокое окно, у которого уселся Тициан, весело болтая с веронским художником Паоло Кальяри (Паоло Вернезе²⁷) и с другими живописцами и гостями. Снова до слуха

²⁷ Вернезе Паоло (1528–1586) – выдающийся представитель венецианской школы живописи. Праздничные, светлые по духу картины Вернезе отличаются

Ульриха долетело имя Моора. Затем старик, с которого он не спускал глаз, подозвал его к себе, и Кальяри сказал ему, что пусть он, ученик знаменитого Антонио Моора, покажет, что он в состоянии сделать, так как маэстро Тициан намерен дать ему задачу.

Дрожь пробежала по членам Ульриха, а на лбу выступил холодный пот. Старик пригласил его последовать за его племянником в мастерскую. До сумерек остается еще час. Пусть он напишет красками еврея, но не ростовщика или торгаша, а более благородный тип, например, пророка, первосвященника или что-нибудь в этом роде.

И вот Ульрих стоит перед мольбертом. Он снова после большого промежутка времени вызывает к «слову» и делает это с верой, с убеждением. И ему вдруг вспоминаются дорогие образы детства, и яснее всех – доктор Коста, который смотрит на него своими умными добрыми глазами.

На него нашло точно какое-то вдохновение. Да, он напишет портрет своего друга, своего учителя, отца Руфи. Портрет должен выйти удачным. В душе Ульриха воскресли, как живые, эти добрые, симпатичные черты, которые он, к великой досаде патера Бенедикта, рисовал еще будучи ребенком.

Вот красный карандаш. Ульрих живо набросал контур, затем схватил палитру и кисть, а образ Косты все яснее и отчетливее, и явственнее вырисовывается перед его мыслен-

ным взором. Он еще не забыл этого кроткого взгляда, этой приятной улыбки – и старался передать их по мере возможности. Минута проходит за минутой, работа его успешно подвигается вперед. Он немного отстывает от мольберта, чтобы бросить общий взгляд на свою работу. В это время отворилась дверь, и в мастерскую вошел, опираясь на плечо какого-то молодого художника, Тициан в сопровождении своих гостей.

Старик взглянул на портрет, потом на Ульриха и сказал с ласковой улыбкой:

– Посмотрите-ка, посмотрите! Несомненно еврей и в то же время как будто апостол. Как будто святой Павел или, если бы написать его более молодым и с более длинными волосами, святой Иоанн. Хорошо, сын мой, очень хорошо!

«Хорошо, очень хорошо!» Этими словами Тициан как бы посвятил его в высокий сан художника, и Ульрих не помнил себя от радости и счастья. В довершение благополучия Паоло Веронезе предложил ему поступить к нему в ученье и явиться в субботу в его мастерскую.

Простившись с хозяином, он поспешил домой, но ни Сото, ни других членов испанского посольства дома не оказалось. Все спешили воспользоваться последним днем карнавала.

И юноше стало тесно и скучно в комнатах. Завтра начинается пост, в субботу для него наступит время серьезной ра-

боты. Следует воспользоваться последним днем праздника, тем более, как казалось ему, сегодня он вполне заслужил это.

Площадь Св. Марка была ярко освещена плашками и бочонками с плавающей смолой, и на ней теснились маски, как в обширной танцевальной зале. Оглушительная музыка, громкий смех, тихое, нежное воркование влюбленных парочек, красивые, нарядные женщины – все это кружило его и без того опьяненную радостью голову. Он задирал маски, а к тем, под которыми он подозревал хорошенькое личико, подходил ближе и запевал любовный романс, сам себе аккомпанируя на лютне, висевшей на алой ленте на его груди. Наградой ему было выразительное помахивание веером; на сердитые же взоры черных мужских глаз он не обращал внимания.

Вот приближается высокая стройная женщина под руку с синьором. Да это, кажется, прекрасная Клавдия, на днях проигравшая бешеные деньги, которые заплатил за нее богач Гримани, удостоившийся за это от нее приглашения навестить ее как-нибудь постом.

Да, это была она, в том не было сомнения. Ульрих последовал за парочкой и становился тем смелее, чем сердитее оглядывался на него синьор, потому что дама ясно давала ему понять, что она узнала его и что его преследование ее забавляет.

Наконец у спутника Клавдии лопнуло терпение. Он остановился посреди площади, отпустил руку своей дамы и ска-

зал презрительным тоном:

– Выбирайте, сударыня: или я, или этот менестрель. Красивая венецианка громко рассмеялась, взяла Ульриха под руку со словами:

– Конец нынешнего вечера принадлежит вам, мой милый певец.

Ульрих тоже засмеялся, снял с шеи свою лютню и сказал, протягивая ее с вызывающим видом незадачливому кавалеру:

– Она в вашем распоряжении, мы поменялись ролями, уважаемый синьор! Но только, пожалуйста, держите ее крепче, чем вашу даму.

В игорной зале шла крупная игра, и золото Ульриха приносило счастье Клавдии. В полночь игра прекратилась, и зала опустела, так как наступил Великий пост. Игроки удалились в соседние комнаты, и в числе их Ульрих и Клавдия. Венецианка сказала, что она устала, и Ульрих пошел отыскивать гондолу.

Тотчас же ее окружила толпа вздыхателей.

– Как, Клавдия без провожатого! – воскликнул какой-то молодой патриций. – Какое невиданное зрелище!

– Я пощусь, – весело ответила она, – и когда мне нужна постная пища, вы тут как тут. Поистине невероятный случай!

– Вы, кажется, порядочно-таки облегчили сегодня Гримани?

– Оттого-то он и исчез! Отчего бы вам не последовать его примеру?

– Охотно, если вы поедете с нами.

– Нет, не сегодня. Вот мой кавалер.

Отсутствие Ульриха было довольно продолжительным, но она этого не заметила. Он раскланялся с кавалерами, подал даме руку и шепнул ей, когда спускались с лестницы:

– Меня задержала твоя прежняя маска. Смотри, вон там во дворе они поднимают его. Он так наступал на меня! Я вынужден был обороняться.

Клавдия поспешно выдернула свою руку и сказала тихим, встревоженным голосом:

– Не медля, прочь, несчастный! Это был Луиджи Гримани, понимаешь ли – сам Гримани! Ты погиб, если они тебя разыщут! Спасайся скорее, иначе расстанешься с жизнью.

Так окончился этот день, начавшийся так блистательно для молодого художника. В его ушах уже раздавались не слова «хорошо, очень хорошо» великого художника, а слова «немедля прочь» развратной женщины.

Де Сото ожидал его, чтобы сообщить, с какой похвалой Тициан отозвался о его пробной работе. Но Ульрих не дал ему закончить и поспешил поведать о своем приключении, и тот мог только повторить «не медля, прочь!» красивой Клавдии, вызвавшись облегчить ему бегство.

Еще не наступило утро, а Венеция лежала уже позади молодого художника. Он направился через Парму, Болонью

и Пизу во Флоренцию. Смерть Гримани не лежала особенно тяжелым камнем на его совести. В то время дуэли признавались как бы малой войной, и убить противника считалось не преступлением, а доблестью. Его заботило нечто иное.

Венеция, на которую он возлагал такие надежды, была потеряна для него, потеряны так же благоволение Тициана и уроки Веронезе. Он опять стал сомневаться в себе, в своем будущем, в волшебной силе «слова». «Нужно рисовать, рисовать», – вот что советовали ему все художники, к которым он обращался; другими словами, это значило, что нужно было еще учиться и корпеть многие годы. А между тем времени было немного, так как он решил, что возвратится в Мадрид в назначенный ему его последним учителем срок. Пусть он ничего не успеет достигнуть, но, по крайней мере, никто не будет иметь права назвать его обманщиком.

Во Флоренции он услышал об ученике Микеланджело²⁸, Себастьяно Филиппи, как об отличном рисовальщике. Он поехал к нему в ученье. Но произведения нового учителя не понравились ему. Привыкший к ясному письму Мора, к богатству красок Тициана, юноша находил рисунки Филиппи туманными и расплывчатыми. Однако он пробыл у него несколько месяцев, так как Филиппи действительно был замечательным рисовальщиком, и к тому же Ульрих постоянно находил у него множество моделей для копирова-

²⁸ Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – итальянский скульптор, архитектор, живописец, поэт.

ния. Но работа казалась ему унылой и непривлекательной, а скучный, болезненный учитель избегал всякого общения с ним.

По вечерам Ульрих искал развлечения за игорным столом, и счастье благоприятствовало ему здесь, не менее чем в Венеции. Кошелек его постоянно был полон, но вместе с золотом к нему не являлось расположение к работе. В игре он искал только развлечения, забвения своего горя; деньги же мало привлекали его. Он щедро раздавал их несчастным игрокам, бедным художникам, нищим.

Так прошли месяцы, и когда прошло время ученья, он без сожаления простился с Себастьяно Филиппи и возвратился в Мадрид более богатый деньгами, но более бедный доверием к своим силам и ко всемогуществу искусства.

XXII

Ульрих снова оказался перед воротами Альказара и вспомнил о том времени, когда он, только что выпущенный из тюрьмы и без гроша в кармане, стоял перед тем привратником, который тогда грубо прогонял его, а теперь вежливо снимал шляпу перед расфранченным молодым человеком. А между тем, как он завидовал самому себе, юноше того времени, как приятно ему было вспомнить о тогдашней своей бодрости духа и уверенности в себе, как охотно он вычеркнул бы из своей жизни годы, лежавшие между тогдашним днем и нынешним!

Ему жутко было предстать перед Челло, и только верность данному слову заставила его возвратиться. Что, если старик прогонит его? Впрочем, тем лучше!

В мастерской царил прежний беспорядок. Ему пришлось ждать довольно долго, причем он слышал за дверьми ворчание супруги художника и громкий, сердитый голос живописца. Наконец Челло вышел к нему, радушно приветствуя и расспрашивая о его жите-бытье, затем сказал, пожимая плечами:

— Моя жена не хочет, чтобы ты видел Изабеллу ранее конца испытания. Само собою разумеется, что ты должен продемонстрировать мне свои успехи. У тебя хороший вид и ты,

очевидно, поберег реалы²⁹. Или правда, что про тебя говорят?.. (И с этими словами он сделал рукой движение, как бы бросая кости.) Оно, конечно, не дурно, если кому везет в игре, но нам здесь такие люди не нужны. Я к тебе расположен по-прежнему, и с твоей стороны хорошо, что ты возвратился в срок. Мне Сото рассказывал о твоём приключении в Венеции. Жаль, очень жаль! Великие тамошние мастера были довольны тобою, и вдруг ты – этакий горячка – все ухитрился испортить. Какое же может быть сравнение между Феррарой и Венецией! Жалкая мена! Филиппи, без сомнения, хороший рисовальщик, но куда ему до Тициана или Веронезе! Что он, все еще хвастает тем, что он ученик Микеланджело? Всякий монах – слуга Господен, да не во всяком замечается Божья искра! Ну, так чему же научил тебя Себастьяно?

Ульрих начал отвечать, но Челло слушал его рассеянно, потому что прислушивался к тому, как в соседней комнате супруга его жаловалась дуэнье Каталине на своего мужа. Она нарочно говорила громко, так как желала, чтобы Ульрих услышал ее слова. Но ей не удалось достигнуть своей цели, потому что Челло оборвал рассказ Ульриха и воскликнул:

– Это, однако, черт знает, что такое! Пускай она хоть треснет, а ты должен увидаться с Изабеллой. Конечно, только поклон, пожатие руки – ничего более. Эх, если бы жизнь так не подорожала! Ну, да мы посмотрим.

²⁹ Реал – старинная испанская серебряная монета, обращавшаяся с XV до 70-х годов XIX века: чеканилась также в Португалии.

Как только живописец вышел в соседнюю комнату, там снова началась крупная перебранка, и, хотя сеньора Петра в конце концов прибегла к обмороку, Челло все-таки настоял на своем и возвратился в мастерскую с Изабеллой.

Ульрих ожидал ее, как обвиняемый приговора. Теперь она стояла перед ним рядом со своим отцом – и он ладонью ударял себя по лбу, и зажмуривал глаза, и снова открывал их, и всматривался в нее, как в какое-то чудо. Он чувствовал и стыд, и радость, и удивление, и мог только протянуть к ней руки и пробормотать: «Я... я... я...» И затем он воскликнул изменившимся голосом:

– Ты не знаешь... Ведь я!., дайте мне собраться с мыслями. Подойди сюда Изабелла. Ты можешь, ты должна это сделать! Вспомни прошлое.

И он широко раскрыл свои объятия и направился к ней. Но она продолжала неподвижно оставаться на месте. Это уже не была маленькая, скромная Белита. Перед ним стояла не девочка, а взрослая девушка. В истекшие полтора года она вытянулась, похудела, лицо сделалось серьезнее, манеры самоувереннее. Глаза остались те же, но черты лица выровнялись, а черные, как вороново крыло, локоны красиво обрамляли личико.

«Счастлив тот, кому будет принадлежать эта женщина!» – подумал юноша, тогда как какой-то внутренний голос шептал ему: «Она не для тебя. Ты проиграл и потерял ее!» Почему она осталась так холодна и неподвижна? Почему она

не бросилась в его объятия? Почему?

Он сжал кулаки и стиснул зубы; девушка же крепче прижалась к отцу. Да, этот красивый, нарядный молодой щеголь с подстриженной бородкой, впавшими глазами и сердитым взором не был прежний восторженный юноша, впервые заставивший биться сильнее ее сердце, не был будущий великий художник, которому она полтора года назад так радостно подставляла свои розовые губки. Ее молодое сердце болезненно сжалось при мысли, что тот, кого она любила, кого она еще желала бы любить – уже не тот, совершенно не тот!

Ей хотелось говорить, но она лишь смогла вымолвить: «Ульрих, Ульрих!» – и звук ее голоса был не радостный, а скорее недоумевающий и вопрошающий. Челло чувствовал, как пальцы дочери крепко впились в его плечо. Она, очевидно, искала у него помощи, чтобы сдержать свое обещание и не поддаваться влечению своего сердца. На ее глаза навернулись слезы, и она дрожала всем телом.

Он не мог сохранить напускную строгость и шепнул ей:
– Бедная девочка! Ну-ну, делай, что пожелаешь. Я не буду смотреть.

Но Изабелла не отпускала его. Она только выпрямилась, посмотрела Ульриху в глаза и сказала:

– Ты изменился, сильно изменился, Ульрих, и я сама не знаю, что такое со мной. Я день и ночь с нетерпением дожидалась этого часа, а теперь, когда он наступил... я, право, не знаю... что-то не то.

– Не то, – воскликнул он с дрожью в голосе, – так я тебе скажу, что такое. Твоя мать настроила тебя против меня, бедного ученика. Я перед тобой! Сдержал я свое слово, да или нет? Что, я сделался чудовищем, ядовитой змеей? Не смотри на меня так, не смотри! Это не поведет к добру! Я не позволю с собой играть!

Ульрих произнес эти слова таким тоном, как будто ему было нанесено тяжкое оскорбление и в сознании своей неоспоримой правоты. Челло отстранил руку дочери и сделал шаг навстречу раздраженному молодому человеку, но Изабелла удержала отца и произнесла, хотя и дрожащим голосом, но твердо и решительно:

– Никто с тобою не играл, Ульрих, и я менее всего. Я относилась к моей любви серьезно, вполне серьезно.

– Серьезно! – прервал ее Ульрих с горькой иронией.

– Да, да, очень серьезно. И когда мама сказала мне, что ты ради распутной женщины убил человека и бежал из Венеции, когда я узнала, что ты в Ферраре стал игроком, то я подумала: нет, они клеветают на него, я знаю его лучше, чем они, они желают очернить его в моих глазах. Я этому не верила – а теперь верю и буду верить до тех пор, пока ты не докажешь мне обратное. Я с радостью сдержу слово, данное художнику Наваррете, но сделаться женою игрока не желаю! Больше ни одного слова! Я ничего не хочу слышать. Пойдем, отец. Если он меня любит, то сумеет сделаться достойным меня. Но теперешнего Наваррете я боюсь.

Ульрих понял, на чьей стороне было право, на чьей – вина. Он хотел бежать из мастерской, от искусства, от невесты; он сознавал, что лишился всего самого дорогого. Однако Челло удержал его. Он находил несправедливым отталкивать от себя молодого человека, только что доказавшего, как он любит его дочь, из-за глупого любовного приключения, из-за счастливой игры в кости. И за ним самим в молодости водились грешки, но это не помешало ему сделаться хорошим живописцем и добрым семьянином. В мелочах он охотно уступал своей жене, но в вопросах серьезных желал быть полным господином в своем доме.

Геррера был человек очень ученый и недюжинный художник, но мужчина невзрачный и неприятного характера. Мужественная красота Ульриха подкупала старого художника, и он надеялся, что под его руководством молодой человек достигнет чего-нибудь путного. Он так же хорошо знал Изабеллу, даже лучше, чем она сама себя знала. Странно только, откуда у нее взялась эта рассудительность. Конечно, не от него, а тем менее от матери. Быть может, она желала только подразнить Наваррете, не высказываться до испытания. Челло улыбнулся; ведь экзаменатором-то был он сам, и от него зависело признать испытание удовлетворительным. Поэтому он удержал Ульриха ободряющими словами и задал ему работу нетрудную: он поручил ему написать Богоматерь с младенцем Иисусом и дал ему на это целых два месяца. Он нашел для него небольшую мастерскую, и только

взял с него обещание не приходить в Альказар до окончания работы. Ульрих на все согласился. Изабелла должна принадлежать ему! Упрямство за упрямство. Пусть она убедится на деле, кто из них настойчивее. Он теперь сам не знал, любит ли он ее или ненавидит, но ее сопротивление распалило в нем желание обладать ею. Он твердо решил создать что-нибудь замечательное. То, что заслужило одобрение Тициана, должно было удовлетворить и Челло.

Итак, он принялся за работу. Его подмывало написать образ Богоматери в таком виде, в каком он уже давно вынашивал его в душе, на стесняя воображение рутинными формами; но он сдерживал себя и сам себе постоянно повторял: «Нужно рисовать, рисовать».

Он вскоре нашел модель. Но вместо того чтобы положиться на верность своего глаза и писать интуитивно и широко, он писал обдуманно, размеренно, постоянно изменяя и исправляя написанное. Волосы, тело и одежда действительно выходили недурно; но он сдерживал себя, и потому работа его выглядела суховато, без признака вдохновения. Фигура младенца Иисуса также не удавалась Ульриху, потому что никогда не приходилось писать детей, и он не мог передать прелести детского личика и тельца. К тому же ему не доставало необходимого спокойствия, потому что ежечасно, ежеминутно он говорил себе, что если работа ему не удастся, Изабелла для него навсегда потеряна.

Так прошло несколько недель. Ульрих жил в совершен-

ном уединении, избегал веселого общества, проводил целые дни с раннего утра до позднего вечера за работой, но без удовольствия, оставаясь недовольным ею.

Иногда и парке его встречал дон Хуан Австрийский. Однажды он спросил: «Ну, что же, Наваррете, надумали поступить в мое войско?» Но Ульриху не хотелось менять карьеру живописца на военную, хотя он уже давно сомневался, действительно ли его призвание быть художником! Чем ближе приближался поставленный ему двухмесячный срок, тем ревностнее он призывал свое «слово», но оно не слушало его.

По вечерам ему хотелось бродить по городу, заводить ссоры или искать забвения за игорным столом; но он не поддавался искушению и искал убежища в церквях, где проводил целые часы, пока не тушили свечи и не запирали двери.

Но его влекло сюда не желание молиться, а нечто совсем другое. При звуке органа и в дыму ладана он уносился мыслью ко всем своим дорогим, снова делался ребенком, и в сердце его шевелились добрые чувства.

В последнюю неделю до истечения срока он внезапно ночью напал на мысль, которая должна была привести его к цели.

На холсте его была изображена прекрасная женщина, державшая на коленях малютку. Но ему до сих пор никак не удалось придать чертам ее лица должное выражение. Пусть же дорогое воспоминание поможет ему справиться с этой труд-

ной задачей. Он не знал в своей жизни более красивой, более нежной и любящей женщины, чем его мать. Он ясно видел перед собой ее глаза, ее рот. Решено: он придаст лицу изображаемой им на полотне любящей матери выражение лица своей дорогой матушки. Она была добрая, хорошая мать, а ему предстояло изобразить красками именно такую.

Уныние и неуверенность как рукой сняло. Он бодро принялся за дело и уже не сомневался в успехе. Изабелла должна остаться довольна им и уже не будет иметь основания сомневаться в его таланте и сетовать на него за безрассудное прожигание жизни.

Наконец наступил день, в который он послал сказать Челло, что картина готова. В полдень тот явился, но явился не один, а в обществе самого короля. С сильно бьющимся сердцем, не в состоянии произнести ни единого слова, Ульрих отворил дверь в мастерскую и отвесил монарху низкий поклон; но тот не удостоил его даже взгляда и молча подошел к картине.

Челло отдернул холст, которым она была завешена, и тотчас же король рассмеялся уже знакомым Ульриху неприятным смехом. Затем он обратился к Челло и сказал, с явным выражением неудовольствия:

– Простое малевание. Какая-то вакханка в одеянии Богоматери. А младенец! Посмотрите-ка на эти ноги: точно ребенок собирается выкинуть какое-нибудь па. Тот, кто в состоянии был написать такую Мадонну, не должен сметь брать

кисть в руки. Пусть он возится с лошадьми – вот его призвание!

Челло ничего не ответил. Король еще раз взглянул на картину и воскликнул с негодованием:

– И это написал христианин! Ну может ли понять этот молокосос эту беспорочную лилию, эту Страдалицу, спасшую мир своими слезами, как Божественный Сын Ее спас Ее своею кровью. Довольно с меня, за глаза довольно! Меня там ждет Эсковедо. А насчет триумфальной арки мы потолкуем завтра! Филипп удалился; живописец проводил его ко двери. Когда он вернулся в мастерскую, несчастный юноша все еще стоял на том же месте и, тяжело дыша, смотрел на подвигшуюся такому резкому осуждению картину свою.

– Бедный малый! – проговорил Челло и подошел к нему с выражением сострадания.

Но Ульрих прервал его и спросил, с трудом выговаривая слова:

– А вы, вы? Каково ваше мнение?

Челло пожал плечами и сказал с выражением искреннего сожаления:

– Его величество выразился несколько резко. Но подойди-ка и посмотри сам. О младенце я не буду говорить, хотя и он... смотри, как он стоит. Но Бог с ним! Я, подобно королю, обращаю главное внимание на Мадонну, а она, мне жаль тебе это говорить, она похожа на кого угодно, только не на Богоматерь. Боже мой, если бы это увидел Моор!

– Тогда, тогда? – переспросил Ульрих с мрачным взором.

– Тогда он заставил бы тебя начать учение сызнова.

Мне от души жаль тебя и не менее жаль бедную Белиту. Вот-то Петра будет торжествовать! Но такой неудачной картины...

– Довольно! – воскликнул юноша, бросился к картине, проткнул ее кистью и опрокинул вместе с мольбертом на пол.

Челло смотрел на него, покачивая головой и старался успокоить его ласковыми словами; но Ульрих не хотел его слушать и воскликнул:

– Нет, мне не стоит и помышлять об искусстве. Прощай, дорогой учитель! Ваша дочь не в состоянии отделить любви от искусства, а между искусством и мною нет ничего общего.

У дверей он остановился, глубоко вздохнул и протянул руку Челло, который печально смотрел ему в след. Живописец взял его за руку, и Ульрих сказал глубоко взволнованным, дрожащим голосом:

– Простите мне мою вспышку. Но мне кажется, будто я хороню все, что мне было дорого. Благодарю вас, дорогой учитель, благодарю за все. Я... я. У меня в голове все путается. Я знаю, я уверен, что вы, что Изабелла желали мне добра... а я... я не сумел воспользоваться вашим расположением. Прощай, счастье! Прощай, обманчивое «слово»! Прощай, божественное искусство!

С этими словами он вырвал свою руку из руки художни-

ка, бросился еще раз в мастерскую, облобызал со слезами на глазах палитру, ручки кистей, свою проткнутую картину и выбежал вон.

Челло хотелось поскорее увидеть свою дочь и поговорить с нею, но король еще довольно надолго задержал его в парке. Когда он наконец возвратился домой, то встретил свою дочь, ожидавшую его на лестнице. Она уже давно стояла здесь.

– Ну что? – окликнула она его. Челло взглянул на нее опечаленным взором и сделал отрицательный знак рукой.

Она вздрогнула, и, когда отец ее подошел к ней, она, пристально смотря на него своими большими черными глазами, бледная, как полотно, проговорила тихим, но решительным голосом.

– Я должна говорить с ним. Поведи меня в его мастерскую, я хочу видеть его картину.

– Он проткнул ее, – ответил художник. – Поверь мне, дитя мое, ты бы и сама осудила ее.

– Нет, нет, – повторяла она серьезно и настойчиво, – я должна видеть ее, видеть вот этими глазами. Я чувствую, я знаю, он все-таки художник. Подожди, я принесу мантилью!

Она поспешно вышла из комнаты и, когда несколько минут спустя, с черной кружевной мантильей на голове спускалась рядом с отцом с лестницы, им повстречался секретарь посольства де Сото, который обратился к Челло со словами:

– Слышали последнюю новость, Челло? Ваш ученик На-

варрете изменил вам и благородному искусству. Четверть часа тому назад он завербовался в войско дона Хуана. Ну что же, лучше быть хорошим кавалеристом, чем плохим живописцем! Но что с вами, сеньорита Изабелла?

– Ничего, ничего! – прошептала девушка и припала к груди отца.

XXIII

Минуло два года. Стояло великолепное октябрьское утро. На чистом лазурном небе показался солнечный диск, позолотивший своими лучами лазурные воды Коринфского залива и сияющие долины Эллады. Берега Морей обращены к северу, и потому здесь еще густая тень покрывала оливковые, лавровые и олеандровые рощи, растущие по берегам впадающих в залив речек и ручьев.

Здесь царит обычная глубокая тишина: только белые чайки реют над водой, рыбацья лодка скользит по волнам, оставляя на синей поверхности длинные борозды. Но сегодня тут заметно особое оживление. Тысячи длинных весел пенят волны, и по обоим сторонам входа в Лепантский залив кипит шумная жизнь. На голом северном берегу раздаются громкие возгласы. Тенистый южный берег гораздо молчаливее.

На обоих берегах залива стоят друг против друга многочисленные полчища озлобленных противников. Папа Пий V³⁰ созвал христианские полчища для борьбы против все более и более распространявшегося исламизма. Только что мусульманами был завоеван остров Кипр, последнее владение венецианцев в Леванте³¹. Испания и Венеция заключи-

³⁰ Пий V – римский папа (1566–1572) мрачный фанатик, сторонник инквизиции, активно поддерживал политику Филиппа II.

³¹ Левант – Восточное Средиземноморье (ныне Сирия, Ливан, Израиль, Еги-

ли союз с главою христианства, геннуэзцы, другие итальянцы и мальтийские иоанниты стали собираться в Мессине как союзники христианской лиги. В море вошел из мессинской гавани громадный великолепный флот, подобный которому давно уже не появлялся на волнах Средиземного моря. Главное начальство над христианским воинством король Филипп сумел возложить, несмотря на все интриги, на своего побочного брата, молодого дона Хуана Австрийского.

Но и турки не теряли даром времени: в Лепантском заливе³² они ожидали со 120-тысячным войском состоявший из трехсот судов неприятельский флот. Они недавно изменническим образом умертвили на острове Кипр несколько тысяч христиан. Кровь их вопиет об отмщении, и мстителем является молодой герой. Он решился оставить без внимания послания из Мадрида, советующие ему быть осторожным. Он сумел воодушевить войска, и все они, а в особенности венецианцы, жаждут мщения.

Мусульмане тоже рвались в бой, и капудан-паша, вопреки мнению созванного им военного совета, вышел в море навстречу неприятелю.

Утром седьмого октября все было готово к бою. Как только взошло солнце, со всех испанских судов раздался звон колоколов, слившийся с кликами: «Аллах акбар!» и с громко

пет, Турция, Греция, Кипр).

³² Лепантский залив – залив у г. Лепанто (ныне г. Нафпактос, Греция). 7 октября 1571 года здесь испано-венецианский флот разгромил турецкий флот. Это была последняя крупная битва гребных флотов.

произносимыми словами: «Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед его пророк! К молитве!»

«К молитве!» Эти слова звучат как из меди колоколов, так и из груди муэдзина, который сегодня призывает правоверных к молитве не с башни минарета, а с реи турецкого адмиральского корабля. По ту и по эту сторону узкого пролива тысячи христиан и мусульман думают, веруют, убеждены, что Всевышний услышит их.

Наконец замолкают звон колоколов и пение, и дон Хуан в быстроходной галере объезжает линии своего флота. Молодой герой держит в руках распятие и обращается к своим воинам с ободряющими словами. Затем раздаются трубные звуки, бой барабанов и слова команды, которые отражаются скалистым берегом. Армада выходит из гавани с адмиральским кораблем во главе. Навстречу ей подвигается турецкий флот.

Молодой герой уже не обращается к мудрым советам опытных адмиралов. Он ничего не желает, ни о чем не думает, ничего не говорит, кроме «вперед», «начать атаку», «на абордаж», «не давать пощады», «потопить», «уничтожить». Подобно разъяренным быкам, оба флота кидаются один на другой. Сегодня все забыто – и сложный план сражения составленный Марко-Антонио Колонной³³, мудрые советы Дориа³⁴ и других военачальников. Исход сегодняшнего

³³ Колонна Марко-Антонио (? – 1584) – командир флота папских галер.

³⁴ Дориа Джиованни Андре (? – 1606) – с 1560 по 1570 год командовал галуэз-

сражения зависит не от хитроумных комбинаций, а от беззаветной храбрости и сильной руки.

Герцог Алессандро Фарнезе Пармский только накануне присоединился к своему дяде с генуэзской флотилией и в этот день начальствовал над авангардом. Но ему велено не начинать атаки, пока ему не подаст сигнал к тому осторожный и опытный Дория. Тем временем дон Хуан уже взял на бордаж турецкий адмиральский корабль, взошел на палубу его и собственноручно зарубил капудан-пашу. Алессандро видит это, воодушевляется героизмом и командует: «Вперед!»

Он плывет прямо на громадный корабль, на мачте которого развевается вымпел с серебряным полумесяцем. С бортов его открылся убийственный огонь, и они густо усеяны боролатыми чалмоносцами. Это был казначейский корабль турецкого флота, представлявший собой весьма лакомый кусочек. Величиной и численностью экипажа он втрое превосходил галеру Алессандро Фарнезе. Но тот не обратил внимания на это, равно как и на смоляные факелы, которыми его забрасывали, и смело кинулся на бордаж. Осторожный Дория приказывает выкинуть сигналы предостережения, но Фарнезе не обращает на них внимания. Палуба вокруг него покрывается мертвыми и ранеными, грот-мачта его корабля разбита ядром и угрожает падением, а он опер-

ским, а затем испанским флотом, во главе которого был направлен Филиппом II на помощь венецианцам в войне против турок.

ся рукою о борт и, окинув смелым взором окружающих, воскликнул:

– Кто за мною?

Закаленные испанские воины, составляющие десант адмиральского корабля, колеблются. Из их рядов выступает, не произнося ни слова, только один юноша, закинув на правое плечо высокий меч. Весь экипаж корабля знает этого белокурого великана. Это Наваррете, любимец дона Хуана. Он успел уже отличиться в рядах его войска в войне против кадикских мавров. У него железная рука, он дорожит жизнью не больше, чем каким-нибудь пером своего шлема, и он в бою кидает на кон свою жизнь столь же смело, как дублоны за игорным столом: и тут, и там он выигрывает.

Никто толком не знал, кто он, откуда он родом, потому что это необщительный, молчаливый мальчик. Во время переезда в Лепант он сблизился только с одним большим солдатом, Мигелем Сервантесом³⁵. Этот необщительный, по-видимому, гордый юноша посвящал всякую свободную минуту своему больному товарищу, заботился о нем, как брат, даже как слуга. Сервантес отличался пылкой фантазией и оплачивал своему товарищу массой самых занимательных и разнообразных рассказов.

О Наваррете знали только то, что он когда-то был художником. Он был известен также своей набожностью, потому

³⁵ Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) – испанский писатель, автор романа о Дон Кихоте, действительно был трижды ранен в битве при Лепанто.

что заходил во всякую попадавшуюся ему на пути церковь или часовню и часами простаивал перед изображением Богородицы и святых. Никто не решался задирать его, потому что он был непобедим в поединках, но вместе с тем отличался великодушием. Он щедрой рукой раздавал направо и налево деньги, доставшиеся ему в виде добычи или выигранные им, и всякий обращавшийся к нему с просьбой мог заранее быть уверен в исполнении ее. Он избегал женщин, но просиживал целые дни и даже ночи у постели раненых и больных товарищей. О нем говорили даже, что ему доставляет какое-то особое удовольствие вид умирающих, а между тем это была лишь потребность любить и выказывать на деле свою любовь.

Алессандро Фарнезе узнал в молодом воине укротителя лошадей, встреченного им в Мадриде, ласково кивнул ему и стал тотчас влезать на борт неприятельского корабля. Но Наваррете не тотчас же последовал за ним, потому что новый друг его, дон Мигель, не желает отставать от него. Ульрих и капитан корабля пытались удержать больного, но тот заявил, что совершенно здоров и настаивает на своем. Видя, что Фарнезе вскочил на неприятельский корабль, Ульрих оставил Сервантеса и одним скачком очутился рядом с молодым герцогом. Они оба начинают работать большими, тяжелыми мечами, и турки валятся перед ними, как скошенная трава. Первые ряды их в испуге отшатнулись. Командир корабля и главный казначей флота Мустафа-паша

сам кидается на смелых христиан, но удар меча Фарнезе повергает его на палубу.

Однако двум молодым храбрецам трудно бороться против многократного превосходства неприятельских сил. В это время Мигель Сервантес, друг Ульриха, появляется на месте боя с двенадцатью воинами. Они прорвались сквозь неприятельские ряды к тесным молодым людям. За ними последовали другие испанские и генуэзские воины, и бой становился все более и более ожесточенным.

Ульриха оттеснили от Фарнезе, и ему пришлось сражаться подле Сервантеса. Тот получил уже две раны, но продолжал искусно работать мечом. В это время пуля раздробила ему левую руку, и он упал на палубу рядом с Ульрихом. Тот склонился и приподнял его. Их со всех сторон окружили свои; турки рассеялись, как тучи, разгоняемые сильным ветром.

Дон Мигель хотел поднять выпавший из его рук меч, но рука бессильно упала, и он, закрывая глаза, тихо проговорил:

– Раны – это те же звезды, они указывают путь к славе.

Сервантес лишился чувств, Ульрих отнес его в более безопасное место, и снова ринулся в бой, а в ушах его звучали слова раненого друга: «Путь к славе». Да, слава – вот высшая цель человека, вот то заветное «слово». Отныне слава станет его заветным «словом».

Над синими волнами залива будто сгустилась черная грозовая туча. Сквозь густой дым не могут пробиться сол-

нечные лучи, и над всей местностью стоит грохот орудий. Там взлетает на воздух пороховой погреб, тут свирепствует пожар. Победные клики и вопли отчаяния, трубные звуки, треск падающих мачт – все это производит поистине адский шум.

Наступили сумерки – и победа осталась на стороне христиан. Подобно тому как Фарнезе собственноручно зарубил главного казначея флота, дон Хуан положил у ног своих начальника эскадры, Али-пашу. Племянник и дядя – оба оказались в этот день героями, но лепантская победа была связана с именем дона Хуана. Последний ласково пожурил племянника за его преждевременную, но увенчавшуюся полным успехом атаку. А когда Фарнезе рассказал принцу, что без самоотверженной помощи Наваррете он бы, несомненно, погиб, главнокомандующий возложил на молодого героя почетное поручение отвезти королю весть о блистательной победе.

Немедленно вышли в море две галеры и направились к западу: на одной из них Ульрих отбыл в Испанию с радостной вестью, на другой отправился курьер Венецианской республики. Гребцам обеих галер нелегко было пробиться сквозь обломки судов, сквозь разбитые мачты и доски, сквозь множество трупов и такелаж, покрывавшие волны морские, и, наконец, выбравшись в открытое море, они пустились наперегонки. Однако ход венецианской галеры оказался быстрее,

и она на сутки раньше прибыла в Аликанте³⁶. Ульриху предстояло верхом на коне наверстать время, потерянное в море.

Это оказалось, однако, делом нелегким. Всюду, где Ульрих менял лошадей и показывал, в виде победного трофея, захваченное на адмиральском корабле зеленое знамя пророка, которое он вез в подарок королю от дона Хуана – на этом знамени было вышито двадцать восемь тысяч девятьсот раз имя Аллаха, – он встречал ликующие, разодетые толпы народа и благодарственные процессии. Имя дона Хуана было на всех устах. «Вот настоящая слава», – думал Ульрих, и в ушах его не переставало раздаваться: «Слава, слава!» Он загнал несколько лошадей и не отдыхал даже по ночам. За полчаса до Мадрида он обогнал венецианца и, проезжая мимо него, вежливо поклонился.

Короля не было в столице, и Ульрих, не теряя ни минуты, поскакал в Эскуриал³⁷. Запыленный, забрызганный грязью, весь разбитый, он едва держался в седле. Однако не захотел поручить никому другому вверенное ему послание и продолжал погонять своего коня шпорами и плетью. Наконец он доскакал до цепи Гвадаррамских гор, где в это время были в полном ходу железоделательные заводы, недавно устроен-

³⁶ Аликанте – испанский город и порт на Средиземном море.

³⁷ Эскуриал (Эскориал) – резиденция испанских королей; находящийся в пятидесяти двух километрах от Мадрида дворец-монастырь с усыпальницей. Представляет из себя комплекс помещений, сгруппированных вокруг внутренних дворов. Построен в 1563–1584 годах, с 1567 года строительство возглавлял Хуан Эррера.

ные здесь по указу короля. Узкая дорога была до того загромождена, что он несколько раз рисковал свалиться с лошадыю в пропасть, объезжая встречавшиеся на каждом шагу препятствия. Странная была фантазия – выбрать эту печальную каменистую местность для постройки в ней загородного дворца. Но она вполне подходила к Филиппу, а Филипп к ней. Мрачен и неприветлив был характер короля, столь же мрачен и неприветлив обожаемый им Эскуриал.

Оказалось, что король был у вечерни в едва достроенной Церкви. Дворцовый комендант Антонио де Виллакастон встретил Ульриха, помог ему сойти с лошади и повел его в церковь. Служба еще не окончилась, но по знаку Антонио патеры прекратили богослужение. Ульрих высоко поднял над головою знамя пророка и воскликнул:

– Беспремерная победа!.. Дон Хуан! Седьмого октября у Лепанта... турецкий флот совершенно уничтожен!

Филипп слышал эти слова, увидел знамя, но ни один мускул его лица не шевельнулся, как будто он ничего не видел и не слышал. Он пробормотал скорее иронически, чем радостно:

– Дон Хуан многим рисковал.

Затем, не распечатывая письма, он подал знак, чтобы продолжали богослужение, и опять встал на колени с самым равнодушным выражением лица.

Ульрих в изнеможении опустился на стул и вышел из своего забытья только тогда, когда, по велению короля, хор за-

пел по случаю Лепантской победы: «Тебя, Бога, хвалим». Он поднялся со стула, и в это время мимо него прошли новобрачные: архитектор Геррера и блиставшая красотой Изабелла Челло. Он судорожно сжал руку, и в эту минуту ему показалось, что он готов все сейчас же отдать – и счастье, и славу, лишь бы быть на месте Герреры.

XXIV

Вскоре Ульриху пришлось воочию убедиться в том, что такое слава. Он увидел в Мессине, как лепантскому герою оказывались почти божеские почести. Всюду, где показывался победитель, красавицы забрасывали его цветами, балконы и окна расцвелились пестрыми коврами, женщины и девушки, дети и мужчины в возрасте провозглашали его имя и подносили ему лавровые венки. От монархов всего христианского мира шли поздравления и подарки. Молодой герой казался Ульриху не простым человеком, а каким-то полубогом.

Впрочем, и Ульриху пришлось вкушать сладость славы. Когда он появлялся в свите дона Хуана, слышал, что в толпе называли его имя и рассказывали друг другу о его подвигах. Сердце его преисполнилось радости и гордости, он высоко поднимал голову и стремился идти дальше по пути к славе.

Молодой полководец тоже не желал почить на лаврах. Однако союзников ослабляли разногласия, возникла зависть, и ему не дано было воспользоваться плодами своей победы, чему много содействовали так же мелочность и подозрительность самого Филиппа. Он, пожалуй, готов был предоставить сводному брату славу, но дрожал за свою власть, которую не желал делить ни с кем.

– Лавры скоро завянут, – говорил он своему любимому

Эсковедо, – а власть – вот это нечто существенное.

И он стал всячески оттирать и отстранять от дел дон Хуана.

В Нидерландах в это время кипела борьба. Филипп не пускал туда своего брата³⁸, но дон Хуан охотно отпустил Ульриха, когда тот изъявил желание принять участие в военных действиях. И если слава действительно была тем «словом», которого так жаждал Ульрих, то ему нечего было жаловаться на судьбу. Он поступил знаменосцем в старокастильский полк, и вскоре, когда он во главе своего полка вступал в какой-нибудь город, все шептали друг другу на ухо:

– Это тот самый Наваррете, который шел впереди всех при штурме Гарлема³⁹, который влез на стену Алькмара⁴⁰, когда все уже отступили. Он решил судьбу сражения на Моокской равнине⁴¹. Вы ведь слышали: будучи поражен двумя пулями, он обмотал вокруг себя знамя и рухнул на траву.

И рассказы о многих других блестящих подвигах молодого знаменосца переходили из уст в уста.

³⁸ Дон Хуан был направлен в Нидерланды только в 1576 году и оставался там в качестве наместника испанского короля до 1578 года.

³⁹ Город Гарлем (Хаарлем) взят испанцами 12 июля 1573 года после семимесячной осады.

⁴⁰ Отступить от осажденного Алькмара испанцев заставила угроза затопления окрестностей города, после того как гёзы открыли шлюзы и пробили прибрежные плотины.

⁴¹ В сражении на Моокской равнине испанцы наголову разбили четырехтысячное войско сторонников оппозиции.

Все испанцы с уважением произносили его имя. Но и нидерландцам Наваретте был хорошо известен, и они сжимали кулаки, говоря о нем, как о кровожадном душителе и истребителе. А между тем в сердце его не было ни малейшей злобы, и он, являясь грозой и бичом для возмутившихся нидерландцев, был только верным слугой своего монарха – и ничего более. В его глазах всякий нидерландец был не честный, трудолюбивый гражданин, боровшийся за свободу и веру, а богоотступник, еретик, бунтовщик, не признающий святых, преследующий благочестивых монахов и монахинь. Эти безбожники осмеливались называть папу антихристом, а в каждом завоеванном городе он находил пасквили на своего короля, своих полководцев, Испанию и испанцев. Могли ли испанцы их понять? Он с детства остался верующим католиком, и совесть его была совершенно спокойна, так как его жестокость относительно еретиков вызывала даже одобрение его духовников.

В сражении, при разграблении неприятельского города, за игорным столом – он призывал теперь Богородицу и гораздо реже свое пресловутое «слово». Он уже не верил в него, потому что оно столько раз не оправдало его ожиданий. Лавры ему надоели, слава не заполняла пустоты его сердца, он чувствовал себя неудовлетворенным и недовольным, и какой-то внутренний голос, который он ничем не в состоянии был заглушить, называл его несчастным безумцем.

А между тем столько людей завидовали ему, когда он

гордо выступал со знаменем впереди своего полка; никто не в состоянии был носить так гордо и красиво тяжелое, обитое латуною древко с расшитым золотом полотнищем. Оно было так велико, что могло служить парусом для изрядной лодки, но он держал его в одной руке так же легко, как будто то была всего-навсего игрушка. При этом он важно раскидывал свою красивую кудрявую бороду, а левую руку упирал в бок. Даже жители неприятельского города любовались красавцем-знаменосцем; и все же он чувствовал себя жалким, несчастным человеком, и все чаще и чаще приходил к заключению, что слава – пустой звук, а что власть – все.

Во время похода через Брабантскую область в том отряде, к какому он принадлежал, произошел бунт. Полковник, капитаны и поручики его полка были изгнаны взбунтовавшимися солдатами, и на их место были назначены разные сержанты и унтер-офицеры. Наваррете, по единодушному приговору товарищей, получил капитанский чин. К кастильскому полку присоединились и другие. Они заняли лагерь при Герентальсе, и здесь решили выбрать главнокомандующего. Число бунтовщиков достигало трех тысяч человек, и ожидалось присоединение к ним еще новых отрядов.

При разбивке герентальского лагеря и вооружении его пушками Ульрих принимал самое деятельное участие. Он выказывал также много такта и сдержанности, как ни тяжело ему было подавлять вспышки своего горячего характера. Он жил, как в лихорадке, почти вовсе не спал,

так как предстояло избрание главного начальника над возмущившимися полками, и честолюбие Ульриха уже рисовало ему в перспективе эту высокую должность.

У него был опасный конкурент, некто Зорильо, тем более опасный, что за него хлопотала особенно усердно его умная и красивая жена, прозванная Сибиллой⁴². У Ульриха не лежало сердце к этой женщине, и он всячески старался избегать ее и ее сожителя, хотя случайность совместной лагерной жизни почти ежедневно сталкивала их. Как Зорильо, так и Сибилла были всегда чрезвычайно любезны с ним и неоднократно приглашали его навещать их палатку, где по целым дням и ночам пировали солдаты, офицеры и даже полковые патеры.

Однажды вечером все вожаки бунтовщиков собрались у Зорильо для совещания. Погода стояла жаркая и душная, и в палатке, где набилось много народу, даже трудно было дышать. Вся палатка была уставлена деревянными столами и скамейками, покрытыми коврами и цветными салфетками, награбленными в Гарлеме. Все стены были покрыты изображениями святых, а над входом висело великолепное распятие. В углу стояла большая бочка вина, из которой Сибилла наполняла стаканы.

Гости были молчаливы и серьезны. Они говорили мало, однако порою разговор принимал характер ссоры. Иногда

⁴² Сибиллы (сивиллы) – легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами.

казалось, что дело вот-вот дойдет до рукопашной; но Зорильо умел тотчас же водворять порядок, и громкие крики превращались в глухой ропот. Во время продолжительного и трудного похода мундиры воинов пообносились, и они скорее походили на шайку разбойников, чем на солдат регулярной армии. Однако, несмотря на эту непрезентабельную внешность, дисциплина между ними строго соблюдалась, и они безусловно повиновались вчерашнему своему товарищу, а нынешнему начальнику.

Все согласны были в одном – необходимо предпринять что-нибудь решительное. Все нуждались в одежде и обуви, в деньгах и в удобных квартирах. Но каким образом вернее и скорее достигнуть предполагаемой цели? Вот в чем был вопрос. Одни требовали начать переговоры с целью достижения приличных условий; другие настаивали на том, что следует взять какой-нибудь богатый город, например соседний Мехелен, где найдется достаточно и денег и всего прочего. Зорильо поддерживал умеренных. Наваррете был на стороне крайних. Он доказывал, что бунтовщики достаточно сильны и что им некого бояться. Тому, кто просит милостыню, дают полушку, а они имеют право требовать, и требовать многого. Он в ярких красках изобразил подвиги и страдания войск и утверждал, что войска требуют только справедливой награды за свои труды.

Слова его были встречены одобрением, и один бомбардир, носивший теперь капитанский чин, воскликнул:

– Наваррете, герой Лепанта и Гарлема прав. Теперь я знаю, кого выбрать.

И некоторые из присутствующих подхватили:

– Прав, прав Наваррете!

И Зорильо прекратил дискуссию словами:

– Выборы завтра, господа, сегодня только совещание.

Здесь нестерпимо душно, и пора разойтись. Но прежде со-
благоволите выслушать человека, желающего вам добра.

И затем он еще раз стал приводить доводы в пользу откры-
тия переговоров и мирного соглашения. Он говорил умно,
тепло и в то же время сдержанно. В каждом его слове звуча-
ло глубокое убеждение. Сибилла подошла к мужу и положи-
ла руку на его плечо. Загорелые воины охотно принимали ее
в своей среде и даже охотно выслушивали, потому что знали
как умную женщину. Лицо ее было красиво и симпатично,
хотя время и заботы провели по нему глубокие морщины,
которые не в состоянии были скрыть румяна. Трудно было
сказать, сколько ей лет: взглянешь на ее светлые глаза, на ее
детскую улыбку, на ее стройный стан – подумаешь, что ей
нет и тридцати; но когда она бывала задумчива или озабо-
чена, ей можно было бы дать и все сорок, да еще с хвостиком.
В часы веселья она выглядела моложе лет на десять; го-
ре же заметно старило ее. Совершенно седые волосы тоже
свидетельствовали о более зрелом возрасте; но, с другой сто-
роны, было известно, что она восемь лет тому назад поседе-
ла в одну ночь, после того как недовольный чем-то обозный

солдат кинулся на Зорилью с ножом и нанес ему опасную, чуть ли не смертельную рану. Впрочем, седые волосы очень шли к ее молоджавому лицу. Она это отлично понимала и поэтому не хотела красить их.

Пока говорил ее сожитель, она пристально смотрела на Ульриха, а когда он кончил, удалилась в глубину комнаты, к своему плачущему ребенку, и стала качать его. Мужчины снова было заспорили, но Зорилью закрыл собрание, и решено было на следующее утро приступить к избранию начальника.

Когда солдаты с шумом расходились, и одни пожимали руку Зорилью, а другие Ульриху, в палатку вошел вахмистр взвода немецкой кавалерии, стоявшего в Антверпене и не присоединившегося к бунтовщикам. Он был одет в пестрый, но нарядный костюм, и за ним вбежала красивая большая тигровая собака. Началась гроза и пошел сильный дождь. Набожные испанцы стали перебирать четки и читать молитвы; но немец не обращал внимания на гром, молнию и дождь; он отряхнул с веселым восклицанием воду со шляпы, весело представился товарищам депутатом от полка Польвиллера. Он объявил, что его товарищи не прочь присоединиться к «вольному» войску и прислали его для переговоров.

Зорилью предложил вахмистру стул, и тот, выпив залпом два больших стакана вина, стал разглядывать собравшихся. Некоторые из них оказались старыми его знакомыми, и он

радушно пожимал им руки. Наконец взор его остановился на Ульрихе, и он стал припоминать, где видел этого красивого белокурого воина.

Наваррете наконец узнал в вошедшем Ганса Эйтельфрица из Кёльна на Шпрее, протянул ему руку и сказал по-испански:

– Вы – Эйтельфриц фон дер Люкке. Помните рождественский вечер в Шварцвальде; помните Моора и мадридский Альказар?

– Ульрих, господин Ульрих! Гром и молния! – воскликнул Эйтельфриц, но вдруг остановился, потому что супруга Зорильо, только что подошедшая к Гансу, чтобы поднести ему большой стакан вина, выронила его из рук и упала бы в обморок, если бы ее не подхватили Зорильо и Ганс. Она отстранила их от себя движением руки. Все удивленно уставились на нее и испугались, она побледнела, как полотно, и лицо ее сразу осунулось.

– Что с тобой? – спросил встревоженный Зорильо. Она старалась успокоиться и отвечала:

– Ничего! Гроза, гром. – И медленными шагами пошла обратно на свое место.

В это время раздался звук колокола, призвавшего к вечерней молитве. Большая часть присутствующих поднялась, чтобы последовать его призыву.

– До завтра, вахмистр! Встретимся при выборах! Прощай, Сибилла, до свидания, прощай! – раздавалось со всех сто-

рон, и палатка вскоре почти опустела.

Ульрих и Эйтельфриц остались одни за столом. Вахмистр отклонил предложение Зорильо присесть к нему, сказав, что он встретил старого знакомого и чертовски рад поболтать с ним о былых временах.

Ульриху приятно было все, что напоминало ему Моора, и когда он остался вдвоем с Гансом, то начал с жаром говорить с ним на каком-то смешанном полуиспанском, полунемецком языке. Он почти совсем забыл родину и наполовину родной язык. Все считали его испанцем, да он и сам почти перестал считать себя немцем.

XXV

Гансу Эйтельфрицу было о чем порассказать Ульриху, потому что он не раз встречал Моора в Антверпене, а тот – его, кроме того, весьма любезно принял в своей мастерской.

С какой радостью Наваррете выслушивал известия о своем любимом учителе, как приятно ему было после стольких лет снова говорить по-немецки, хотя теперь он мог изъясняться на этом языке только с грехом пополам. Ему казалось, будто растаяла какая-то ледяная гора, окружавшая его сердце, и никто из его товарищей еще никогда не видел его таким веселым. Только одно существо в этой комнате знало, что он умеет от души смеяться и весело играть, и этим существом была красивая женщина, сидевшая в углу комнаты и сама не знавшая, прыгать ли ей от радости, или провалиться сквозь землю от стыда.

Она вынула из люльки годовалого ребенка, бледное, жалкое созданище, отец которого был убит в сражении, а мать бросила его на произвол судьбы. И этот красивый офицер, сидевший там за столом, – это ее сын, ее Ульрих! Да это он, и она могла только украдкой смотреть на него, ловя на лету немецкие слова, срывавшиеся с его уст. Она не пропускала ни одного из этих слов и, пока смотрела и слушала, ее мысли переносились далеко-далеко, в давнее время, и она видела рядом с бородатым великаном хорошенькую курчавую

детскую головку, и ей слышался то густой, но приятный бас, то серебристый детский голосок, звавший свою «мамочку» и заливавшийся звонким смехом.

Бледное чужое дитя, которое она держала на руках, не раз касалось своей ручонкой ее щеки, потому что щека эта была мокра от слез, скатывавшихся на личико ребенка. И как трудно было этой младожавой женщине с седыми волосами молчать, не давать воли своим чувствам! Как подымало ее вскочить и крикнуть статному молодому человеку, сопернику ее любовника:

– Смотри, смотри на меня! Я – я твоя мать! Ты – сын мой. Приди ко мне на грудь, я тебя больше не покину!

А Ульрих оживленно болтал и от души смеялся, не подозревая того, что происходило в считанных шагах от него, в бедном материнском сердце. Он даже не глядел в ее сторону и весь был поглощен рассказами своего собеседника, с которым осушал стакан за стаканом. Вахмистр шутил и острил без умолку, но она не смеялась, у нее было одно желание – чтобы он скорее замолчал, чтобы заговорил Ульрих, и ей было по крайней мере дано услышать его голос.

– Позвольте псу моему, Лелапсу, вскочить на это кресло, а то он промочит себе ноги на мокром полу и простудится. Это замечательное животное не похоже на других собак.

– Вы называете этого тигра Лелапсом? – спросил Ульрих. – Странная кличка!

– Я выменял его у одного тюрбингенского студента, Фран-

да фон Гальберга, славного господина, на слоновый клык, который привез из Малой Азии, а тот дал ему эту странную кличку. Говорю вам, он умнее многих ученых. Его бы следовало называть «доктор Лелапс».

– А что, Ганс, вы по-прежнему так же хорошо складываете песенки?

– Нет, совсем бросил! – вздохнув, отвечал Эйтельфриц. – Видите этот шрам на голове? С тех пор как какой-то пес-туземец раскроил мне череп, я не в состоянии сочинить ни одной строфы. Теперь я зато вру напрапалую, и это доставляет моим собеседникам не меньшее удовольствие.

– Вам раскроили череп? Да, да, я вижу, что вы любите приврать.

– Вы не верите? Нет, это-то чистая правда! Ощупайте сами мою голову. Это был, говорю вам, замечательный удар; но нет худа без добра. Это было, как я вам говорил, в Африке, в пустыне, и мы все изнемогали от жажды: нигде ни капли воды. Лелапс был со мной и чутьем нашел подземный ключ. Нужно было только вырыть немного земли, но у меня не было ни лопаты, ни заступа. Тогда я вынул из головы одну половинку черепа и стал рыть ею песок, пока не добрался до ключа; а затем я из нее же выпил вместо стакана.

– И у вас язык повертывается так врать! – воскликнул Ульрих.

– А что, вы разве не верите, что собака чутьем может найти ключ? – спросил Эйтельфриц с комическим негодова-

нием. – Но этот Лелапс сам родом из Африки, где водится столько тигров, и его мать...

– Да ведь вы только что говорили, что он из Тюбингена!

– Но я же объяснил вам, что я все вру; вот я вам и соврал, что он родом из Швабии, а в действительности он родился в пустыне, в стране тигров. Но шутки в сторону, господин Ульрих, побалагурим в другой раз. А теперь скажите мне, пожалуйста, где мне найти Наваррете, который так отличился при Лепанте и на острове Шонене. Это должно быть малый не промах. Говорят, что Зорильо и он...

Ганс говорил громким голосом; едва услышав имя Наваррете, Зорильо обернулся, и глаза его встретились с глазами Ульриха. Тот понял, что ему следует быть начеку: если в нем узнают немца, Зорильо будет иметь в руках сильное оружие против него, так как испанцы никогда не допустят, чтобы над ними начальствовал не испанец.

Эта мысль быстро промелькнула в его голове. И ведь надо же было, чтобы ему встретился Ганс Эйтельфриц, для того чтобы напомнить ему, что он находится среди людей чужой национальности! С молниеносной сообразительностью, которую он воспитал в себе во время походов, Ульрих положил свою руку на руку земляка и сказал серьезно:

– Вы мой друг, Эйтельфриц, и не захотите вредить мне?

– Разумеется! Но в чем дело?

– В том, что вы никому не должны говорить, когда и где мы в первый раз встретились. Не перебивайте меня. Позже,

в своей палатке – где вы надеюсь, переночуете, – я расскажу вам, что мне довелось в жизни и почему я переименовал имя. Не удивляйтесь и сохраните спокойствие: я Ульрих, мальчик из Шварцвальда, и есть тот самый Наваррете, которого вы ищете.

– Вы? – переспросил Ганс, широко раскрыв глаза. – Ну да, как бы не так! Теперь вы начинаете рассказывать мне небывальщину.

– Нет, Ганс, нет, я нисколько не шучу, говорю вам совершенно серьезно: действительно, я Наваррете. И если вы не проболтаетесь и не сыграете на руку моим противникам, то я надеюсь быть выбранным завтра начальником. Вам известна испанская гордость: я, как немец Ульрих, буду в их глазах совсем иной человек, чем кастилец Наваррете. Вы можете мне испортить все дело!

Ганс рассмеялся и скомандовал собаке:

– Служи, Лелалс! *Служи кабальеро Наваррете!*

Испанцы покосились на него, полагая, что немец выпил лишнее, но Эйтельфриц не пьянел от таких пустяков. Он подмигнул Ульриху и сказал ему шепотом:

– Где нужно, там я умею и промолчать. Однако куда вы хватили! Шваб – и начальник этих надутых испанцев! Вот увидите, как я вам помогу!

– Что вы намерены делать? – спросил Ульрих.

Но Ганс, ничего не отвечая, поднял кружку и так сильно ударил ею по столу, что чуть не сплющил ее; затем он еще

несколько раз крепко стукнул кулаком по столу, и, когда все испанцы повернули к нему голову, он сказал по-испански:

– Да, да, славное было времечко, кабальеро! Ваш дядя, вельможный граф, и графиня мать, и молодая графиня – что за чудесные люди! Помните в конюшне вашего батюшки черного жеребца с белым хвостом? А старый слуга Энрике! Я во всей Кастилии не видел большего носа, чем у него. Как-то в Бургосе я увидел из-за угла длинную-предлинную тень, и только две минуты спустя показался нос, от которого падала тень, а уж затем и сам Энрике.

– Да, да, помню, – сказал Ульрих, поняв уловку Ганса. – Но мы что-то заболтались, уже поздно. Пора и домой.

Сибилла, или Флоретта, не расслышала того, о чем они шептались; но она отлично поняла смысл громкой речи вахмистра. Когда он поднялся с места, она положила ребенка в люльку, глубоко вздохнула, закрыла на мгновение лицо руками и затем направилась к своему сыну.

Почему Флоретту прозвали Сибиллой – за умение ли ее гадать на картах, или за ее ум, – она сама этого не знала. Ее прозвали так двенадцать лет назад, когда она была еще любовницей валлонского капитана Гранданьяжа, хотя она и затруднилась бы теперь сказать даже, кто ее первый так назвал. Гаданью же на картах она научилась у вдовы одного моряка, сдававшей ей квартиру. Она занялась этим делом как средством, позволявшим упрочить свое положение в обществе, а при ее природном уме и знании людей, приобре-

тенном во время долгих скитаний, ей нетрудно было сделать-ся в скором времени замечательной гадалкой. Ее изречениям жадно внимали не только офицеры, но и генералы, и если нынешний ее сожитель, с которым она сошлась лет десять тому назад, не заплатился дорого за последний солдатский бунт, в котором он принимал деятельное участие, то он этим главным образом был обязан ей.

Ганс Эйтельфриц слышал об искусстве Сибиллы, и, когда она перед его уходом предложила погадать ему на картах, он, вопреки настояниям Ульриха, не устоял против искушения заглянуть в будущее. Гадание вышло вообще довольно благоприятное для него. Когда выпал червовый валет, она сказала: «А это вы, Наваррете! Вы с этим господином давно уже встречались, и не здесь, а в Швабии, в рождественский вечер».

Она все это только что подслушала, но Ульриху сделалось жутко, тем более что он уже раньше заметил, что эта женщина непрестанно смотрит на него испытующим взором. Он встал и хотел было уйти, но она удержала его словами:

– Теперь ваша очередь, капитан.

– Нет, лучше в другой раз, – уклончиво ответил Ульрих. –
Счастье, когда бы оно ни пришло, всегда придет вовремя, а о несчастье незачем знать заранее.

– Но мне известно не только будущее, а и прошлое. Ульрих остановился. Ему хотелось узнать, что сожительнице его соперника известно о его прошлом, и он сказал:

– Ну, пожалуй, начинайте.

– Очень охотно. Но когда я заглядываю в прошедшее вопрошающего меня, то я должна оставаться с ним наедине. Сделайте одолжение, господин вахмистр, побудьте четверть часа с Зорилью.

– Не верьте всему, что она будет говорить вам, и не смотрите слишком пристально ей в глаза. Пойдем, Лелапс! – смеясь, сказал Ганс и вышел из палатки.

Сибилла стала молча дрожащими руками раскладывать карты, а он думал: «Теперь она постарается выведать от меня что-нибудь, и я готов биться об заклад, что будет пугать меня разными ужасами, чтобы заставить отказаться от поста начальника. Но я не попадусь на эту удочку. Пусть-ка она лучше поговорит о прошлом».

Она как будто пошла навстречу его желаниям, потому что, не кончив еще раскладывать карты, подперла щеку рукой и спросила, стараясь встретить его взор:

– С чего же нам начать? Вы помните еще ваше детство?

– Конечно.

– И отца?

– Я его давно уже не видел! Разве не видно по вашим картам, что он умер?

– Да, да, конечно, умер. Но ведь у вас была и мать?

– Понятно была! – сказал он раздраженным тоном, потому что ему досадно было говорить с этой женщиной о своей матери.

Она слегка вздрогнула и сказала:

– Вы отвечаете очень резким тоном. Разве вы не вспоминаете больше о вашей матери?

– А вам что за дело до этого?

– Мне это нужно знать.

– Нет, все, что касается моей матери, об этом я... об этом я не стану говорить с первым встречным.

Она вздохнула и посмотрела на него так, что он невольно вздрогнул. Затем она положила карты на стол и спросила:

– Быть может, вы желаете узнать что-нибудь про зазнобушку?

– У меня нет зазнобушки. Но что вы так смотрите на меня? Быть может, вам надоел Зорильо. Что касается меня, то я не гожусь в воздыхатели.

Она вздрогнула, и лицо ее, только что сиявшее радостью, сразу приняло такое страдальческое и болезненное выражение, что ему стало жаль ее. Но она вскоре оправилась и продолжала:

– Вы говорите вздор. Пожалуйста, предлагайте мне вопросы.

– Откуда я родом?

– С горной и лесистой местности в Германии.

– А-а! И вы знаете что-нибудь про моего отца?

– Вы на него очень похожи в верхней части лица, у вас также его голос.

– Яблоко от яблони далеко не упадет.

– Конечно, конечно. Я точно вижу перед собой Адама...

– Адам? – воскликнул Ульрих и побледнел.

– Да, его звали Адамом, – продолжала она твердым голосом. – Он точно живой стоит передо мной, в кожаном фартуке, с шапочкой на белокурых волосах. На окошке красуются желтофиоль и бальзамины, а на площади, перед кузницей, подковывают пегашку.

У Ульриха помутилось в глазах, но это не помешало ему разглядеть именно в эту минуту, что у этой женщины, этой Сибиллы, были глаза и рот не его матери, а той Мадонны, которую он когда-то рисовал в Мадриде и потом сам разорвал в минуту досады. Едва помня себя, он схватил ее руку, крепко сжал ее и порывисто спросил по-немецки:

– Как меня зовут и как меня называла моя матушка? Она опустила глаза, как бы застыдившись, и тихо прошептала по-немецки:

– Ульрих, мой касатик, мой мальчуган, мой барашек, Ульрих – дитя мое! Прокляни меня, покинь меня, осуди меня, но назови меня еще раз своей матушкой.

– Матушка! – тихо проговорил он и закрыл лицо руками. Она же вскочила, подбежала к бедному сиротке в люльке, припала лицом к ребенку – и горько-горько зарыдала.

Тем временем Зорильо не спускал глаз со своей сожительницы и Наваррете. Его удивил неожиданный оборот их разговора и странная заключительная сцена. Он медленно приподнялся с места, подошел к люльке, перед которой стояла

на коленях Сибилла, и с беспокойством спросил:

– Что с тобой, Флора?

Она прижалась лицом к ребенку, чтобы не было видно ее слез, и сказала скороговоркой:

– Я предсказала ему вещи, такие вещи... Ступай, я расскажу тебе об этом позже.

Он удовольствовался этим ответом, она подседа к испанским воинам, а Ульрих простился с ней неммым поклоном.

XXVI

«Однако испанские манеры заразительны, – размышлял про себя Ганс Эйтельфриц, поворачиваясь с боку на бок в палатке Ульриха на приготовленном ему ложе. – Что стало из этого веселого малого! На каждом шагу он вздыхает, а каждое его слово точно стоит ему гульден. Правда, он хороший солдат, и если они выберут его начальником, то, пожалуй, стоит присоединиться к их отряду».

Ульрих в кратких словах сообщил ему, почему он принял фамилию Наваррете и каким образом он попал из Мадрида в Лепант, а из Лепанта в Нидерланды. Затем и он улегся, но долго не мог заснуть.

Наконец он нашел свою мать. Таинственное «слово» сделало свое дело, но он не знал, радоваться ли этому, или печалиться.

Солдатская любовница, неверная жена, сожительница его соперника, которой он еще вчера сторонился, гадалка, лагерная Сибилла – вот кто была его мать. Он, дороживший своей честью превыше всего, судорожно хватавшийся за меч при всяком косом взгляде, – он оказался сыном женщины, на которую каждый мог указывать пальцем. Все эти мысли бродили в его голове, но – странное дело – несмотря на то, он испытывал необыкновенно радостное ощущение при воспоминании, что он снова обрел свою мать.

И образ ее представлялся ему не в том виде, в каком он увидел ее в палатке Зорильо, а лет на двадцать моложе, окруженной бальзаминами и желтофиолью. И он мечтал о том, что, когда он станет богат и знатен, то убедит ее бросить Зорильо и выстроит для нее уютный домик, и когда будет нуждаться в уединении и спокойствии, то удалится к ней, и будет отдыхать у нее, и вспоминать о своем детстве, и ухаживать за ней; он заставит ее забыть всю свою вину и все свои несчастья, а сам будет счастлив сознанием, что у него после стольких лет нашлась мать, нежная, добрая, любящая мать.

С каждой минутой Ульрих чувствовал себя более веселым и счастливым. Вдруг вблизи него что-то зашуршало. Он невольно схватился за меч, но немедленно же опустил его, потому что тихий знакомый голос промолвил:

– Ульрих, это я.

Он вскочил, быстро надел мундир, подбежал к ней, обнял ее и позволил ей гладить себя по голове и целовать глаза и щеки, как в те далекие, счастливые времена. Затем он ввел ее в палатку и сказал шепотом: «Потише, там храпит немец». Она последовала за ним, и прижималась к нему, и целовала его руки, и он чувствовал, как на них капали ее слезы.

Они еще ничего не успели сказать друг другу, кроме того, что они счастливы, рады и благодарны судьбе, сведшей их, как мимо них прошел патруль. Она в испуге вскочила и воскликнула:

– Ах, как поздно! Зорильо ждет меня!

– Зорильо! – сказал он с пренебрежением. – Тебе не следует оставаться у него. Если они меня выберут...

– Они выберут тебя, они не могут не выбрать тебя, – торопливо прервала она его. – О Боже, Боже! Быть может, это послужит к твоему несчастью! Но ты ведь так этого желаешь. Граф Мансфельд завтра прибудет в лагерь – Зорильо это знает. Он привезет всеобщую амнистию и производство, но не привезет денег.

– Ого! – воскликнул Ульрих. – Это может иметь решающее значение!

– Конечно, конечно! Да тебе и по справедливости следует командовать ими. Тебе рок сулит нечто необыкновенное, да и карты как-то особенно складываются для тебя. Ах, власть – вещь хорошая, но многим она принесла гибель.

– Потому что она оказалась чересчур тяжела для них!

– Но тебе она послужит в пользу. Ты достаточно силен и к тому же ты родился под счастливой звездой. Глупости! Нечего мне бояться за тебя! Я мало для тебя сделала – это правда, но верно то, что я молилась за тебя ежедневно, утром и вечером. Чувствовал ли ты это?

Он снова обнял ее, но она освободилась от его объятий, сказав:

– До завтра, Ульрих. Зорильо...

– Зорильо, все только Зорильо! – проговорил он ей вслед, и кровь кинулась ему в голову. – Говорю тебе, ты должна его

оставить.

– Это невозможно, Ульрих, совершенно невозможно! Да еще все уладится, вы подружитесь...

– Мы! Никогда! Неужели ты с ним крепче связана, чем с моим отцом! Но погоди! Найдется человек, который в случае надобности разрубит ваши узы.

– Ульрих, Ульрих! – жалобно проговорила Флоретта и подняла руки. – Нет, ты этого не должен делать. Он добр, умен и носит меня на руках. О Боже, Ульрих! Мать прокралась ночью к сыну, как бы на преступное свидание! Разве это не наказание! Я знаю, как тяжело я согрешила, и я заслуживаю кары, но не от тебя. Если бы отец твой был еще жив, я бы ради тебя подползла к нему на коленях и сказала бы ему: «Вот я: карай или милуй меня». Но его уже нет в живых, он умер. А Пасквале, то есть Зорильо, жив, и он – не подумай, что я хвастаю или заблуждаюсь, – он не допустит, чтобы я его покинула...

– А отец мой!.. Ведь перенес же он это? Правда, как! Хочешь, я расскажу тебе?..

– Нет, нет, не нужно. Ах, дитя мое, как ты меня мучишь! Я знаю очень хорошо, насколько я виновата перед твоим отцом, и это гнетет меня, потому что он меня искренне любил, да и я любила его в душе. Но я не могу долго оставаться на одном и том же месте, не могу опускать глаза в землю, как остальные немецкие женщины. Это не в моем характере. Ведь Адам запер меня точно в клетке, и я в течение несколь-

ких лет ничего не видела, кроме него да нашей маленькой скучной городской площади. И вот мне однажды стало невтерпеж, меня тянуло прочь, куда-то вдаль – я сама не знаю куда. Вот я и ушла с лейтенантом Симоном. Но с ним я прожила недолго – он был хвостун и вертопрах. Я сошлась с капитаном Гранданыжем и оставалась верна этому валлонскому дьяволу и следовала за ним повсюду, пока его не сразила пуля. Затем, десять лет тому назад, я познакомилась с Зорилью. Я подружилась с ним, и он не может жить без меня. Не смейся, Ульрих. Я знаю, что я уже не молода; и все же Пасквале меня любит, и я его люблю и вполне довольна своей участью. О Боже, Боже! Что же мне делать, если это сердце и теперь еще бьется так же сильно, как и двадцать лет тому назад?

– Так ты не намерена покинуть его?

– Нет, нет! Потому что я люблю его, и он стоит моей любви. Его считают хорошим человеком даже те, которые знают его только наполовину, а я его знаю лучше всех. Нет человека более доброго и великодушного. Дай мне договорить! Не думай, чтобы я тебя забыла. Но я не надеялась когда-либо увидеть тебя, и вот я стала брать на воспитание бедных сироток – одного из них ты видел вчера в моей палатке; иногда у меня было по два, по три таких крикуна зараз. Гранданыж их терпеть не мог, но Зорилью сам любит детей, и мы с ним раздаем всю нашу долю добычи солдатским вдовам и сиротам. Он одобряет все, что я делаю. Нет, я не могу его поки-

нуть!

Она замолчала и закрыла лицо руками, он же ходил взад и вперед в сильном волнении. Наконец он произнес твердым голосом:

– А все же тебе следует расстаться с ним. Я не могу иметь ничего общего с любовником жены моего отца. Я – сын Адама, и мне его память священна. Ах, матушка, я так давно был разлучен с тобой! Ты берешь на себя заботу о чужих сиротах, а собственного сына снова делаешь сиротой. Неужели ты этого желаешь? Нет, ты не можешь этого желать! Не плачь, я не хочу, чтобы ты плакала. Лучше выслушай меня. Ради меня, брось испанца. Ты об этом не пожалеешь. Я только что говорил тебе о гнездышке, которое я устрою для тебя. Я буду тебя лелеять и холить, и ты сможешь ухаживать за сиротками, сколько твоей душе будет угодно. Уйди от него, уйди ради твоего сына, твоего Ульриха!

– Боже, Боже мой! – громко рыдая, говорила она. – Хорошо, я попробую это сделать, дитя мое!

Он крепко обнял мать, поцеловал в голову и тихо произнес:

– Я знаю, ты нуждаешься в любви. У меня ты найдешь ее.

– Да, у тебя! – повторила Флоретта, рыдая, затем отпрянула от сына и пошла к больной родильнице, на зов которой покинула свою палатку. Она возвратилась домой на рассвете и застала Зорилью неспящим. Он спросил ее о здоровье больной и сообщил, что в ее отсутствие давал пить взятому

на ее попечение ребенку.

Она снова расплакалась, а он только сказал:

– У всякого хватает своего горя, и не следует принимать близко к сердцу чужую печаль.

– Чужая печаль! – глухо повторила женщина и улеглась спать.

И к чему только эта женщина с седыми волосами осталась так молода душой! Она испытывала разом заботы и муки старости и юности. В ее душе боролись на жизнь и на смерть любовь женщины и любовь матери. Которая-то из них победит? Она это знает, она это знала раньше, чем возвратилась в палатку. Мать бежала от своего ребенка, но возвращенного ей судьбой сына она не могла покинуть.

Когда на следующее утро Зорильо взглянул в лицо своей сожительнице, он ласково спросил:

– Ты плакала?

Она, потупившись, ответила утвердительно.

Зорильо подумал, что ее беспокоят предстоящие выборы, и, притянув к себе, весело сказал:

– Не беспокойся, моя милая. Если они выберут меня, и сегодня приедет, как обещал, граф Мансфельд⁴³, то сегодня же все кончится. Авось они образумятся напоследок. А если они выберут этого молокососа, то поплатится своей головой он, а не я. Да ты нездорова, что ли? На кого ты похожа? Те-

⁴³ Мансфельд Петер Эрнст (1517–1604) – член Государственного совета Нидерландов, деятель католической партии, поддерживавшей испанцев.

бе положительно не следует проводить бессонные ночи у постелей больных.

Эти слова, исходившие из глубины сердца, глубоко тронули Флоретту. Она схватила его руки, облобызала их и воскликнула:

– Благодарю тебя, Пасквале, за твою любовь. Я ее никогда не забуду, что бы ни случилось. Ступай, слышишь, бьют барабаны.

Он подумал, что она бредит, и просил ее успокоиться. Затем он вышел из палатки и отправился на сборный пункт.

Как только Флоретта осталась одна, она опустилась на колени перед распятием, хотя сама толком не знала, молиться ли ей за то, чтобы сыну ее досталась столь опасная должность. А когда она стала молиться о даровании ей силы для того, чтобы покинуть своего дорогого и доброго сожителя, ей казалось, что она изменяет Пасквале. Мысли ее путались, и она не смогла завершить молитву. Тогда она схватилась за карты, чтобы узнать из них, с Ульрихом или с Зорилью теперь ее свяжет судьба.

Десятка червей, на которую она загадала, легла рядом с трефовым валетом, то есть Пасквале. Она с негодованием смешала карты и твердо решила вопреки предсказанию последовать за сыном.

Между тем в лагере трещали барабаны, раздавались звуки труб и рожков и стоял гул многих тысяч голосов. Вдруг Флоретте показалось, что до нее долетел звук голоса Ульри-

ха. Сердце ее забилось сильнее, и она не могла долее усидеть в палатке. Она накинула на голову покрывало и поспешила на сборный пункт. Солдаты хорошо знали ее и пропускали беспрепятственно.

На валу, между орудиями, стояли вожаки бунтовщиков и впереди всех ее сын, обращавшийся к толпе. Щеки его покраснелись, а золотистые локоны, откиннутые назад, придавали его лицу такое воинственное выражение, что чувство материнской гордости превозмогло в ней чувство тревоги и печали.

Она услышала, как он воскликнул: «Языком работать другие умеют получше меня, но пусть-ка кто со мной сравняется вот в этом!» И он поднял одной правой рукой тяжелый меч, который всякий другой мог поднять только двумя руками, и стал вращать им над головой. В рядах солдат раздались одобрителльные крики, когда они смолкли, он опустил меч и сказал:

– И чего только добиваются говоруны и парламентареры? Того, чтобы мы, подобно собакам, лизали ноги тем, кто нас бьет? Граф Мансфельд прибудет сегодня – я это знаю; но я знаю так же и то, что он не везет с собой того, что нам нужно, что нам следует, чего мы имеем право требовать, – денег! Денег у него нет для нас. Я клянусь вам, что это так, и пусть всякий, кто того желает, опровергнет мои слова, пусть скажет, что Наваррете лжет. А, вы молчите! Ну так я буду говорить. Мы не желаем, чтобы нас водили за нос и обманывали.

Мы требуем только законной оплаты за нашу службу. У кого избыток терпения, тот пусть ждет. Но мое терпение лопнуло. Мы – верные слуги короля и останемся ими. Но пусть и его генералы держат свои обещания; а если они этого не делают, то им нечего требовать от нас послушания. Нам нужны деньги! Если у правительства нет золота, то мы легко найдем город, в котором достанем все, что нам причитается. Кто не трус, не баба – тот пойдет за мной; кто желает ползти за Зорилью – пусть ползет: таких нам не надо. Выбирайте меня, друзья, и я, клянусь Пресвятой Девой и святым Иаковом, доставлю вам все, что нам нужно, и, кроме того, еще – славу и почет. Да здравствует наш король!

– Да здравствует король! Да здравствует Наваррете! Ура Наваррете! – раздалось из тысячи уст.

Зорилью не дали говорить, приступили к выборам, и избранным оказался Ульрих.

Он стал обходить ряды и пожимать руки товарищам. Он достиг цели своих мечтаний – власти. Все толпились вокруг него, его имя было на всех устах, мужчины махали шапками, женщины – платками. К бою барабанов и звуку труб присоединились залпы всех орудий, потому что избрание Ульриха пришлось по душе командиру пушкарей.

Ульрих, точно опьяненный, стоя среди всего этого шума и гама, снял свой шлем и кланялся толпе. Он хотел говорить, но шум заглушил его слова.

Флоретта по окончании выборов потихоньку удалилась,

сначала в свою палатку, потом к больной родильнице.

Ульриху некогда было думать о матери, потому что едва он принес торжественную присягу товарищам и принял их присягу, как появился граф Мансфельд, принятый с большим почетом. Он уже прежде встречался с Наваррете, и тот с величайшим достоинством вступил с ним в переговоры. Но оказалось, что граф действительно не привез с собой ничего, кроме обещаний, и потому бунтовщики продолжали настаивать на своем: деньги или город! Граф напоминал им их присягу, угрожал, предостерегал, убеждал, но Ульрих оставался непреклонен. Мансфельд вскоре убедился, что здесь ничего не добьется. Наваррете согласился только на то, чтоб отправить вместе с графом в Брюссель какого-нибудь рассудительного человека, который объяснил бы совету наместничества, в каком положении находятся дела, и выслушал бы предложения совета. И когда граф предложил Ульриху возложить это поручение на Зорильо, тот приказал квартирмейстеру немедленно готовиться к отъезду.

Час спустя, граф Мансфельд в сопровождении сожителя Флоретты отправился в путь.

XXVII

Прошло пять дней со времени выборов. Шел дождь, в словно обезлюдевшем лагере раздавались только шаги часовых и по временам плач ребенка.

В палатке Зорильо, которая в прежние времена бывала ярко освещена до поздней ночи, горела только лучина, возле которой сидела и штопала шерстяную куртку служанка. Она никого не ожидала в такое позднее время и потому вздрогнула, когда в палатку неожиданно вошел Зорильо в сопровождении двух новых капитанов. Зорильо держал шляпу в руке, слегка седеющие волосы ниспадали в беспорядке ему на лоб, но он выглядел брасвоим новым начальником. Они находили удобные помещения в домах граждан, спали в их кроватях, ели из их посуды, пили их вино. Три дня им было разрешено грабить. На четвертый день гражданам дозволили приняться за свои обычные занятия. То, что осталось неразграбленным, было признано неприкосновенным, да к тому же грабеж перестал представлять выгоды.

Ульриху как начальнику отряда, разумеется, принадлежало право выбрать себе квартиру по вкусу, а в Аальсте не было недостатка в хороших зданиях. Сначала он хотел было выбрать дворец барона Гиэржа, но затем остановился на прелестном маленьком домике близ рынка, который должен был напоминать ему и его матери отцовскую кузницу. Угловую

комнату с видом на красивую ратушу он велел устроить для своей матери, а городским садовникам было велено доставить самые лучшие комнатные растения. Вскоре уютная комнатка, уставленная цветами и увешанная клетками с певчими птицами, приняла вид гораздо лучше того, о котором он мечтал, думая о гнездышке, которое он совет для своей «мамочки». Он достал так же белую собачку – точь-в-точь такую, какую привезла с собой Флоретта в кузницу, и ему было отрадно в этом благоустроенном помещении. До горя же граждан ему не было дела. Они проиграли ставку в войне, к тому же они были неприятели и бунтовщики. Среди своих солдат он не видел недовольных лиц; ему принадлежала власть, ему повиновались.

Зорильо негодовал – Ульрих видел это по его глазам; тогда он назначил его капитаном, из него получился образцовый квартирмейстер. Флоретта давно уже намеревалась сообщить ему, что Ульрих ее сын, но тот просил повременить с этим, пока его власть не упрочится вполне. Могла ли она в чем-нибудь отказать сыну? Как она была рада, что снова нашла его! Можно ли было иметь более нежного сына, более уютную обстановку? Ульриху достались захваченные солдатами парчовые и шелковые платья баронессы Гиэрж, и он, конечно, подарил их ей. Как молодо она выглядела в них! Когда она смотрелась в зеркало, то сама дивилась себе.

В конюшне барона нашлись две прекрасные верховые лошади, дамские седла и богатая сбруя. Ульрих сообщил ма-

тери об этом, и у нее тотчас явилось желание прокатиться. Гранданьяж обучил ее верховой езде, и она вскоре заметила, что, когда проезжала по улицам в черной бархатной amazонке и в маленькой шапочке, рядом со своим сыном, то даже враждебно настроенные обитатели и обитательницы города с удовольствием смотрели им вслед. И действительно, красивое зрелище представляли этот молодой статный воин и эта красивая седая женщина с блестящими черными глазами.

Часто они встречали Зорильо, и Сибилла каждый раз приветливо кивала ему; но он всегда нарочно смотрел по сторонам или же, если не успевал отвернуться, отвечал холодным поклоном. Это очень оскорбляло ее, и, оставаясь одна, она сильно грустила. Но достаточно было приблизиться Ульриху – как она снова оживлялась. Сын поведал матери все, что волновало его душу, и она была вполне согласна с ним, что власть – величайшее из благ земных.

Молодой командующий не желал удовольствоваться взятием незначительного городка Аальста. Хотя брюссельские власти и объявили бунтовщиков стоящими вне закона, но те не обращали на это никакого внимания. Наваррете подумывал о взятии богатого Антверпена, а все испанские войска, соблазненные примером возмутившихся полков, собирались последовать их примеру.

Мать была другом и советчицей сына. Он выслушивал ее мнение относительно каждого замышлявшегося им шага, и ей льстила роль, выпавшая на ее долю; а когда вероятности

за и против уравнивались, она гадала на картах, и исход гадания решал дело. Оба они не имели иной более высокой цели, как приносить пользу своему окружению! Что за дело было им до того, что от их решения зависела судьба тысяч людей! Смертоносное оружие в руке являлось в их глазах только средством для того, чтобы срывать с деревьев вкусные плоды. Слова дона Хуана, что власть есть не что иное, как богатая нива, уже сбылись, и Ульрих с матерью собирал в Аальсте обильный урожай.

Флоретта взяла с собой сиротку-приемыша и ходила за ним по-прежнему с материнской заботливостью, родившийся на соломе ребенок теперь был укутан в кружева и меха. Она не могла обойтись без него, потому что он доставлял ей развлечение в долгие часы отсутствия Ульриха; это отвлекало ее от мрачных мыслей.

Ульрих часто подолгу отсутствовал дома, гораздо дольше, чем того требовала его служба. Что могло вызывать такое продолжительное отсутствие? Не навещал ли он любовницу? Отчего бы и нет? Это нисколько не удивило бы мать, гораздо более она удивилась бы тому, что красавицы не сбегались к красавцу Ульриху из ближних и дальних мест.

Да, Ульрих снова нашел прежнюю возлюбленную, и этой возлюбленной было искусство, от которого он несколько лет назад в досаде отвернулся. До его сведения дошло, что при защите города был убит какой-то художник. Он захотел видеть его произведения и отправился в его жилище.

Боже, в каком состоянии он застал его! Окна и мебель были перебиты, дверцы шкафов выломаны, вдова убитого вместе с детьми своими лежала на соломе. Это печальное зрелище тронуло его, и он дал бедной женщине щедрое вспоможествование. На стенах висело несколько изображений святых, которые испанцы пощадили; мольберт, кисти и краски так же остались нетронутыми. Тогда ему пришла в голову мысль, за осуществление которой он немедленно принялся: он задумал написать новое знамя. И как сильно забилося его сердце, когда он снова встал за мольберт.

В еретиках он видел только язычников, испанцы сражались против них и за свою веру. И вот он изобразил на одной стороне знамени лик Распятого, на другой – образ Богоматери. Для первого моделью ему послужил молодой воин, для второго – вдова художника. Теперь его руку не удерживали никакие сомнения, никакая забота о том, что скажут другие; он обладал властью и знал, как бы он ни написал, все будет хорошо. Он придал фигуре Спасителя голову Косты, как он это сделал уже у Тициана, а Богоматери опять придал лицо своей матери, назло мадридским судьям и себе в удовольствие. Однажды он попросил ее сидеть спокойно и думать о чем-нибудь серьезном, так как он желает написать ее портрет. Она охотно согласилась на это и только попросила его поторопиться, так как не могла долго оставаться неподвижной.

Несколько дней спустя обе картины были готовы и вышли

недурны. Он от души радовался тому, что несмотря на долгий перерыв ему удалось написать нечто порядочное. Флоретта была в восхищении от работы сына и в особенности от написанной им Богородицы. Она тотчас же узнала себя и была очень тронута его идеей. Она сказала, что действительно выглядела именно так, когда была несколько помоложе; ее удивляло более всего то, как верно он передал тогдашний цвет ее волос. Смущало ее только, не грешно ли, что он придал Богоматери ее лицо: ведь она великая грешница, и ничего более!

Вскоре она стала испытывать некоторую скуку. Она привыкла к обществу, и одинокая семейная жизнь начинала ее тяготить. Однако она никогда не жаловалась и старалась не дать заметить Ульриху, что скучает.

Однажды Ульрих объявил матери, что должен будет покинуть ее на несколько дней. Уже несколько раз ему приходилось разгонять вольные отряды крестьян и горожан, вооружившихся против бунтовщиков. Теперь полковник Ромеро призывал его на помощь против значительного отряда, собранного бароном фон Флойоном между Лувеном и Тирлемоном. Отряд этот состоял преимущественно из студентов и другой фламандской молодежи, желавшей освободить свое отечество от неистовств испанско-немецкой вольницы.

Ульрих радостно простился с матерью, потому что был уверен в победе и в скором возвращении, но она заливалась слезами. Часть своего войска Ульрих оставил в городе

под начальством Зорильо, а сам с отборными полками выступил в поход.

XXVIII

Значительная, но собранная наскоро армия патриотов была только что уничтожена при Тиснаке менее многочисленным, но искушенным в военном деле испанским отрядом. Ульрих, со своей стороны, немало содействовал победе и заслужил благодарность отважного Ромеро и других испанских офицеров. Они рады были заручиться его содействием при предполагаемом нападении на Антверпен. Все удивлялись его храбрости и следовали за ним со слепым доверием. Он упивался сознанием собственной власти, и это сознание удесятерило его силы. Вечером после одержанной победы он пировал с Ромеро, Мендозой, Варгасом и другими вождями. На следующее утро приступили к допросу пленных.

Допрос студентов, горожан и крестьян он предоставил своему помощнику; но в числе пленных было и три дворянина, с которых можно было взять значительный выкуп. Двое из них согласились на его требования и были отпущены. Оставалось допросить третьего, высокого статного молодого человека в рыцарском одеянии. С ним Ульрих вступил во время боя в поединок, и еще неизвестно, на чьей стороне осталась бы победа, если бы лошадь рыцаря не была убита ружейным выстрелом.

Пленник носил руку в повязке; на панцире его был выгравирован графский герб.

– Вас вынули из-под лошади, – обратился к нему Ульрих по-испански, – вы бились с честью.

Рыцарь пожал плечами и ответил по-немецки:

– Я не понимаю испанского языка.

– Значит, вы немец? – спросил Ульрих по-немецки. –

Но каким же образом вы очутились среди нидерландских бунтовщиков?

Рыцарь взглянул на него с удивлением. Ульрих продолжал:

– Я понимаю по-немецки. Отвечайте.

– У меня в Антверпене были дела, – ответил пленник.

– Дела? Какие?

– Это мое дело.

– А, так вот как! Ну, значит, мы переменим вежливый тон на другой.

– Нет, это совсем ни к чему! Я побежден и обязан вам отвечать. Мне нужно было закупить материю.

– Вы купец?

Рыцарь покачал головой и ответил, улыбаясь:

– Мы вновь отстроили наш замок после пожара.

– Понимаю: вам нужна была материя и вы надеялись получить их в виде добычи?

– Нет, вы ошибаетесь.

– Ну, так что же привело вас в ряды наших врагов?

– Барон Флойн – родственник моей матери. Когда он выступил против вас...

– То вы тоже пожелали попытать счастья на войне?

– Совершенно верно.

– И вы недурно справились с вашим делом. Откуда вы родом?

– Я уже сказал вам – из Германии.

– Но Германия велика. Откуда именно?

– Из Швабии, из Шварцвальда.

– Ваше имя?

Пленник молчал. Ульрих всмотрелся в герб, изображенный на вооружении, затем пристально посмотрел рыцарю в лицо, подошел к нему, улыбаясь, и проговорил уже совершенно другим тоном:

– И вы думаете, что Наваррете потребует от графа Фролингена значительного выкупа?

– Вы знаете меня?

– Может быть. Ведь вы граф Липс?

– Черт возьми!

– И замок ваш расположен в поле, недалеко от монастыря.

– Совершенно верно! Но откуда вы-то все это знаете?

– Мы старые знакомые, граф Липс. Вглядитесь-ка в меня хорошенько.

Тот вопросительно посмотрел на Ульриха и сказал, качая головой:

– Ваше лицо с самого начала казалось мне знакомым. Но я никогда не бывал в Испании.

– Зато я бывал в Швабии и еще с тех пор являюсь ва-

шим должником. Что, хватило бы вашего выкупа на то, чтобы уплатить стоимость разбитого церковного окна?

Граф широко раскрыл глаза, радостная улыбка озарила его лицо, он всплеснул руками и радостно воскликнул:

– Ты... ты... ты Ульрих! Черт меня побери, если я ошибаюсь! Но кому могло прийти в голову, что шварцвальдский мальчуган превратился в испанского военачальника!

– А между тем это так. Но пока пусть это остается между нами! – сказал Ульрих и протянул графу руку. – Только молчи – и ты свободен. Пусть разбитое окно будет твоим выкупом.

– Пресвятая Дева! – воскликнул граф. – Если бы все окна в монастыре ценились так дорого, то монахи скоро сделались бы настоящими крезами. Шваб остается швабом, хотя бы он и нарядился испанцем. Вот так счастье, что я последовал за бароном Флойном. А твой старик Адам, а Руфь – вот они обрадуются!

– Как, ты не знаешь? Мой отец умер уже давно, давно... – сказал Ульрих, потупив взоры.

– Умер? – воскликнул граф. – Давно? Что ты мелешь! Я его три недели тому назад видел у наковальни.

– Моего отца? У наковальни? И Руфь? – переспросил Ульрих, уставясь на графа.

– Да, конечно же! Они живы и здоровы. Говорю тебе, что я видел их в Антверпене. Старик выковывает такие латы, что все только диву даются. Неужели ты не слыхал о кузнеце

Швабе?

– Шваб, Шваб... И это мой отец?

– А кто же, как не твой старик! Сколько с тех пор прошло лет? Да, тринадцать, потому что мне тогда было шестнадцать, – так вот, тринадцать лет я его не видел и все же узнал с первого взгляда! Да и то сказать – трудно забыть ту сцену, которую я увидел в лесу, когда немая вынимала стрелу из груди доктора. Я всю эту сцену и сейчас вижу перед собой.

– Он жив, они не убили его! – воскликнул Ульрих, и только теперь он начинал радоваться услышанной им вести. – Липс, Филипп! Слышишь, я недавно нашел свою мать, а теперь и отца. Постой, погоди немного... Я поговорю со своим помощником. Пусть он пока заменит меня здесь, а мы с тобой поедem в «Лев», и там ты мне все расскажешь. Пресвятая Дева, благодарю Тебя! Я увижу его, увижу моего батюшку!

Было уже за полночь, а товарищи все еще сидели в отдельной комнате в гостинице «Льва» за стаканом вина. Ульрих закидывал графа вопросами, а тот охотно отвечал ему, рассказал о смерти доктора и о том, каким образом Адам очутился в Антверпене, где он живет уже двенадцать лет, занимаясь ружейным делом. Немая жена доктора умерла от горя еще во время переезда; Руфь же осталась жить у Адама и ведет его хозяйство. Граф сознался, что он так часто посещал оружейника не ради оружия, а ради красивой приемной до-

чери старика. Она стройна, как тополь, и такая красавица, что, кто ее раз увидел, никогда не забудет. Но она ужасная недотрога, и если ласково обращается с графом, то только в память его дружбы с Ульрихом. Вот-то она обрадуется, когда узнает, что он еще жив и что с ним случилось! А старик-то, старик! Граф выразил желание лично отправиться в Антверпен, чтобы сообщить Адаму радостную весть.

Ульрих узнал так же, что старый граф Флоринген еще жив, но сильно страдает от подагры и от капризов своей второй жены, на которой он женился уже в пожилом возрасте. «Висельник Маркс» впал в ипохондрию и кончил жизнь с помощью веревки, впрочем, добровольно. Черномазый Ксаверий пошел в монахи и обретается в Риме в большом почете. Старик-настоятель тоже пока жив и занимается почти исключительно наукой, так как монастырская школа упразднена, и число монахов значительно уменьшилось. Отец Ксаверия подвергся обвинению в растрате сиротских денег, просидел целый год в тюрьме и умер от болезни печени.

Уже рассвело, когда приятели наконец расстались. Граф Филипп вызвался сообщить Руфи, что Ульрих нашел свою мать; она же должна была склонить Адама простить свою жену, о которой Ульрих отзывался с таким восторгом.

При прощании граф попробовал убедить Ульриха покинуть избранный им опасный путь; но тот только рассмеялся и сказал:

– Знаешь, я нашел наконец свое «слово» и намерен вос-

пользоваться им вполне. Ты родился для власти, я же завоевал ее себе и успокоюсь не раньше, чем воспользуюсь ею всласть. Я уже изведаль ее вкус.

Ульрих лишь на короткое время завернул в лагерь. Он не мог думать ни о чем ином, кроме своих родителей, которых он желал помирить, и о красавице Руфи. Ему хотелось поскорее вернуться домой и поделиться с матерью радостным известием.

При въезде в Аальст он встретил одного из капитанов и спросил его, что нового. Тот в смущении потупился и сказал тихим голосом:

– Ничего особенного; только третьего дня случилось происшествие, которое, вероятно, огорчит вас. Ваша любовница, Сибилла...

– Что! Кто! Что ты этим хочешь сказать?

– Она пошла к Зорильо, и тот – только не пугайтесь, – тот заколол ее кинжалом.

Ульрих зашатался и глухо повторил:

– Заколот? Значит, убил!

– Да, он ударил ее в самое сердце, и смерть ее была мгновенна. Затем он неизвестно куда скрылся. И кто бы мог думать, что этот спокойный человек...

– И вы дали ему уйти, негодяи! – воскликнул Ульрих. – Хорошо, это вам даром не пройдет! Где труп?

Капитан пожал плечами и сказал:

– Успокойтесь, Наваррете! Мы все очень сожалеем о Си-

билле. Что же касается Зорильо, то ведь он, как вы сами знаете, имел бланк на свободный пропуск. А труп все еще лежит в его квартире.

– Хорошо, – ответил Ульрих, – я желаю видеть его.

Капитан молча пошел с Ульрихом в квартиру убийцы. Его мать лежала в простом дощатом гробу. В головах гроба горела простая лучина. Белая собачка ее отыскивала чутьем свою хозяйку и обнюхивала пол, залитый кровью.

Ульрих взглянул покойнице в лицо, но вздрогнул, отвернулся и сказал своим спутникам: «Закройте лицо». Затем опустился на колени и в течение нескольких минут молился. Наконец он встал, огляделся вокруг, и на лице его, кроме глубокой скорби, появилось еще гневное выражение. Как! Он начальник отряда, а останкам той, которая ему дороже всего, не оказывается ни малейшего почета.

– Пожалуйста сюда, капитан! Эта женщина – объявите это всем – моя мать, да, моя родная мать. Я требую, чтобы к ней относились с тем же почтением, как и ко мне. Слышите! Пришлите сюда людей с факелами! Тотчас же устроить катафалк в церкви святого Мартина и обставить его свечами. Поручик, отправляйтесь к епископу и скажите ему, что я приказываю ему отслужить торжественную панихиду по моей матери. И чтобы звонили во все колокола, и чтобы весь отряд был в сборе. Тут рядом у гробовщика я видел большой дубовый гроб. Тотчас же доставьте его сюда! Когда я возвращусь, чтобы все было исполнено.

Он поспешил домой, сорвал все цветы в комнате своей матери и велел отнести их на гроб ее. Затем он опять пошел к квартире Зорильо, перед которой толпились солдаты. Он объявил им громким голосом:

– Сибилла была моей матерью! Зорильо убил мою мать! Когда ее положили в новый гроб, он велел заколотить его и покрыл цветами.

Шествие направилось к церкви, но по дороге Ульриха встретил капитан Ортис и сообщил:

– Епископ отказывается исполнить твое требование относительно катафалка и панихиды, так как твоя мать умерла, не приобщившись Святых тайн.

– Как, он отказывает в этом мне? Идем к собору!

– Он заперт, и господин епископ...

– Ну так мы выломаем двери. Я покажу епископу, кто здесь хозяин.

– Помилуй, что ты хочешь делать! Выломать двери церкви!

– Вперед, говорю я! Кто не трус, последует за мной!

Однако капитан Ортис не двинулся с места и решительно заявил:

– Мы не воюем со святым Мартином.

Ульрих остановился, заскрежетал зубами, оглянулся кругом и еще раз спросил:

– Итак, вы следуете за мною?

– Куда угодно, только не для разрушения церкви, – отве-

тили офицеры.

– Ну, так теперь я вам приказываю. Лейтенант Вега, ведите ваш взвод и выламывайте двери.

Но Ортис скомандовал:

– Стой! Святой Мартин – мой патрон. Не смей трогать церковь!

Кровь бросилась Ульриху в лицо, не помня себя, он швырнул свой жезл в ряды солдат и воскликнул:

– Я кидаю его к вашим ногам! Пусть поднимет, кто хочет!

Солдаты было смутились, но Ортис повторил свою команду «стой!», и другие офицеры последовали его примеру. Улица опустела, и за прахом Флоретты последовали только Ульрих и немногие его друзья. На кладбище Ульрих бросил в могилу несколько горстей земли и, понутив голову, поплелся домой.

Как пуст, как мрачен показался ему его дом, который он еще так недавно с такой любовью отделявал для своей матери! Он не мог плакать, но зато тем сильнее была его злоба по поводу нанесенного ему оскорбления. Он разом лишился и матери, и власти. Тщетно к нему приходили один за другим офицеры, чтобы убедить взять назад свой жезл: он никого не допускал к себе.

В душе Ульрих был доволен своим решением. И к чему ему власть, когда он лишился той, которая была ему дороже всего! Вместе с нею он был бы счастлив и в самой скромной хижине; без нее ему было бы тоскливо и скучно и во дворце.

Тут он вспомнил об отце и Руфи. Да, конечно, он бросает все и завтра же отправляется в Антверпен. И в голове его промелькнула горькая мысль о том, что судьба лишила его матери как раз в тот момент, когда он нашел своего отца, когда тешил себя надеждой, что помирит их... И вдруг!..

Ульрих захотел отвезти отцу что-нибудь на память о Флоретте и пошел в ее комнату. Но ее сундука не оказалось там; домовладелица в отсутствие Ульриха взяла к себе и сиротку-приемыша, и вещи Флоретты. Эта добрая и честная голландка любила Флоретту за ее веселый и приветливый характер, потому сочла нужным спасти вещи ее от расхищения, а ребенка – от голодной смерти.

Было уже около полуночи, когда Ульрих со свечой в руке поднялся к хозяйке. Она еще не спала. Он объяснил ей свое желание и стал рыться в сундуке, а старуха думала про себя: «Значит, это была его мать. Кто бы это мог подумать! Они скорее были похожи на влюбленную парочку. Он браваый солдат и, кажется, добрый человек». Она светила ему, пока он рылся в сундуке, и покачивала головой при виде вещей, набросанных в величайшем беспорядке. Он нашел, между прочим, дорогое ожерелье, когда-то подаренное Зорилью своей любовнице; он отложил его для Руфи. В свертке, связанном ленточкой, он нашел маленькую детскую рубашечку, куклу и золотое обручальное кольцо. Кольцо было то самое, которым она при венчании обменялась с Адамом, а кукла и рубашечка были воспоминанием о нем, Ульрихе.

Он долго держал эти вещи в руках и наконец, не обращая внимания на хозяйку, залился слезами и воскликнул:

– Матушка, милая матушка!

В это самое время он почувствовал, что кто-то положил руку на его плечо, и ласковый женский голос произнес:

– Бедняжка! Да, хорошая была женщина.

Эта похвала была для Ульриха дороже славы, власти, дороже всего на свете. Он с выражением благодарности кивнул старухе и ушел от нее с облегченным сердцем.

XXIX

На следующее утро Ульрих и его слуга укладывали вещи, как вдруг на улице раздались звуки труб и громкие возгласы. Он выглянул в окно и увидел, что весь его отряд направляется к его дому. Здесь солдаты выстроились, а офицеры вошли к нему, клялись в верности по гроб и убеждали его остаться их командующим.

Тогда он убедился, что власть нельзя бросать, как никуда не годную вещь. Он был глубоко тронут, а вместе с тем в нем заговорило честолюбие. Правда, он еще немного поломался, но в конце концов уступил, и когда Ортис, стоя на коленях, поднес ему жезл, он принял его.

Итак, Ульрих снова принял командование, но это не могло удержать его от намерения повидаться с отцом и Руфью. Он объявил поэтому собравшимся, что соглашается остаться на своем посту, но что ему необходимо сегодня же ехать в Антверпен, сославшись на предполагаемую атаку этого города. Его подчиненные были только рады такой предприимчивости своего молодого вождя, и, когда он около полудня вышел к войскам с написанным им самим новым знаменем, его встретили с громкими кликами приветствия и никто не роптал, хотя многие узнали в нарисованной на знамени Богоматери хорошо знакомую им Сибиллу.

Два дня спустя Ульрих въезжал в Антверпен. Он тот-

час же отправился к графу и застал его дома. Тот встретил его с некоторым смущением, причина которого вскоре разъяснилась. Когда Ульрих сообщил ему о смерти своей матери, граф после обычного выражения сожаления прибавил:

– Впрочем, нет худа без добра. Твой отец – упрямый, непокладистый шваб. Он бы никогда не простил ей.

– Неужели он знал, что моя мать была так близко от него, в Аальсте?

– Конечно, знал.

– Но мертвой он простит, когда я попрошу его, когда я скажу ему...

– Ах ты, горемычный, ты все представляешь себе в розовом свете. Мне не хотелось бы говорить тебе этого, но делать нечего! Он и о тебе ничего не хочет знать.

– Не хочет знать обо мне! Что, он с ума сошел? Чем же я-то провинился?

– Он знает, что ты – Наваррете, что ты начальствовал над войсками при взятии Аальста. Видишь ли, мой милый, человека, который на виду, все видят издалека. Я сам был солдатом, я отдаю сполна должное твоему мужеству, но... извини меня... ты и твои испанцы поступали жестоко. Ведь и голландцы – люди.

– Они – бунтовщики, презренные еретики.

– Потихе, потихе! Ты должен знать, что и отец твой – далеко не верующий католик. Какой-то странствующий проповедник убедил его читать Библию, и он значительно разо-

шелся со многими из воззрений церкви. Он считает голландцев благородным, свободолюбивым народом, а вашего короля Филиппа – тираном и убийцей; вас же, служивших ему и Альбе... Впрочем, я не хочу оскорблять тебя. Словом, он считает испанцев бичом Божиим.

– Никогда не было на свете лучших солдат!

– Очень может быть, но он не может вспоминать спокойно о пролитой вами крови, а так как и ты в этом повинен...

– Надеюсь, он изменит свой взгляд на меня. Я возвращаюсь к нему честным солдатом, вождем чуть ли не целой армии. И наконец я все же его сын. Только бы мне повидаться с ним. Ведь и моя мать, когда я ее встретил, была в лагере моих врагов, а затем... Ты пойдешь со мной в его мастерскую?

– Нет, Ульрих, нет! Я уже сказал старику все, что можно было сказать в твою защиту, но он до того озлоблен...

Ульрих вспылал:

– Ну так мне не нужно адвоката! – воскликнул он. – Если старику известна моя роль в этой войне – тем лучше. Я по мере сил исполнял то, что считал своим долгом. Я уже не ребенок, и пробил себе дорогу без отца и без матери. Я всем обязан самому себе, и мне нечего и некого стыдиться, в том числе и собственного отца! Он человек упрямый, я знаю, но и я не привык плясать под чужую дудку.

– Ульрих, Ульрих! Он – старик, он – твой отец!

– Это мы увидим, когда он назовет меня своим сыном.

Слуга графа проводил Ульриха к дому его отца. Адам совершенно отказался отковки лошадей, и поэтому мастерская его приняла вполне презентабельный вид. Ульрих отпустил слугу, вынул из кармана захваченные им с собой вещи матери и стал прислушиваться к звуку молота, доносившемуся из мастерской. Этот знакомый звук пробудил в нем приятные воспоминания детства и несколько успокоил его. Граф Филипп был прав: Адам был старик и имел право требовать от своего сына почтения; от него Ульрих должен был снести то, чего он не дозволил бы никому другому. Он был уверен, что все недоразумения между ним и отцом уладятся при первом же личном свидании.

Прежде чем постучать в дверь, Ульрих заглянул в окно и увидел стоящую к нему спиной женщину высокого роста, в коричневом платье, отделанном кружевами, и с длинными черными косами, ниспадавшими на спину. Какой-то пожилой господин в купеческой одежде подавал ей на прощание руку и говорил:

– Вот вы опять, фрейлейн Руфь, сделали очень, очень дешевую покупку.

– Я дала настоящую цену, – ответила она спокойно. – И у вас останется барыш, и для вас сделка выгодна. После завтра ожидаю железо.

– Оно будет доставлено до обеда. Вы настоящий клад, сударыня. Если бы мой сын был еще жив, я бы не сосватал ему другой невесты. Вильгельм Икенс жаловался мне на свое го-

ре. Ведь он славный малый. Отчего вы не подаете ему надежды? Ведь вам уже за двадцать лет, годы уходят...

– Да я ничего лучшего не желаю, как оставаться у батюшки, – весело ответила она. – Вы знаете, что он не может обойтись без меня, а я без него. Я ничего не имею против Вильгельма, но мне, право же, не составит труда прожить и без него! До свидания!

Ульрих отошел от окна, а когда купец вышел, снова заглянул в комнату. Руфь сидела за конторкой, но не заглядывала в счетную книгу, а задумчиво глядела по сторонам. Ульрих смотрел на ее красивое, спокойное лицо и переносился мысленно в давно прошедшее время, к воспоминаниям детства.

Он нигде, даже в Италии, не встречал более красивого женского лица. Филипп был прав. В ее лице было что-то величественное. Это была та женщина, о которой мечтал Ульрих, чтобы делить с ней власть и могущество. И когда-то он держал ее на своих руках. Ему казалось, будто это было только вчера. Когда она, наконец, встала и в задумчивости подошла к окну, он не мог более удержаться и воскликнул:

– Руфь, Руфь! Неужели ты меня не узнаешь? Ведь это я – твой Ульрих!

Она вздрогнула, раза два воскликнула: «Ульрих, Ульрих!» – и дозволила ему прижать ее к своему сердцу. Девушка давно уже ожидала его с нетерпением, смешанным с ужасом: она знала, что Ульрих – кровожадный вождь диких орд, враг того народа, который она так любила. Но при виде

его она все это забыла и ощущала только чувство радости по поводу возвращения к ней человека, которого она никогда не могла забыть, которого она так искренне любила.

И его сердце было полно восторга. Он говорил нежные слова, прижимал ее к своему сердцу и хотел поцеловать. Но она отвернулась и сказала;

– Нет, нет! Между нами лежит много зла.

– Что такое? – воскликнул он. – Разве ты не близка мне? Наши сердца соединились тогда, помнишь... И если отец сердится на меня за то, что я служу другим господам, то ты должна соединить нас. Я не мог долее вытерпеть в Аальсте.

– У бунтовщиков? – печально спросила она. – Ульрих, Ульрих, каким же ты возвращаешься к нам!

Он опять было схватил ее руку, а когда она ее отдернула, то он сказал с сознанием своей правоты:

– Оставь эти глупости. Завтра ты подашь мне не только одну руку, но обе. Случайности войны поставили меня на сторону Испании, и я стараюсь добросовестно служить моим господам. За что же вам сердиться на меня?

Руфь вспылила.

– Нет, тысячу раз нет! – воскликнула она. – Ты разоритель городов, наемник испанцев. Я хорошо знаю твоего отца: он никогда не подаст тебе руки.

Ульрих хотел была вспылить, но сдержался и спокойно сказал, пожав плечами:

– Ты только эхо старика. Он не в состоянии понять сол-

датскую честь и военную славу, но ты, Руфь, – ты должна понять меня! Помнишь то «слово», которое мы с тобой искали? Ну так я тебе скажу, что нашел его, и ты будешь владеть им вместе со мной. А теперь помоги мне уломать старика. Он упрям, но авось нам это удастся. Граф Филипп сказал мне, что он до сих пор отказывается простить мою мать; но несколько дней тому назад она умерла, а мертвой он, надеюсь, простит. Я снова одинок, я нуждаюсь в любви. У кого мне искать ее, как не у родного отца? Ты же не считаешь меня таким дурным человеком, как говорят, – не так ли? Окажи мне услугу, поведи меня к отцу, убеди его выслушать меня. Отнеси ему вот это – ты увидишь, что это смягчит его сердце.

– Пожалуй, я попробую, – сказала Руфь. – Но, повторяю, пока ты остаешься в рядах испанцев, он не захочет слышать о тебе.

Тут Ульрих вынул из кармана ожерелье, предназначавшееся для Руфи, и протянул ей его со словами:

– А вот это для тебя. Ну что, видела ли ты что-нибудь лучшее?

Но она сделала шаг назад и спросила:

– Это военная добыча?

– Да, я приобрел это в честном бою, – ответил он и хотел надеть ей на шею ожерелье; но она вырвала украшение из его рук, швырнула на пол и воскликнула:

– Мне противна всякая ворованная вещь! Подними это

и подари какой-нибудь лагерной женщине!

Он заскрежетал зубами, схватил ее руки и произнес:

– Оно предназначалось для моей матери, а ты отвергаешь его!

Она ничего не хотела слышать и старалась вырваться от него. В это время дверь отворилась, но они оба ничего не заметили, пока сердитый мужской голос не воскликнул:

– Прочь, негодяй! Руфь, иди сюда. Так вот как входит этот убийца в дом своего отца! Вон, вон! – И с этими словами Адам вынул свой молот из-за пояса.

Ульрих безмолвно смотрел ему в лицо. Да, это был его отец, такой же высокий и могучий, как тринадцать лет тому назад. Голова его немного склонилась вперед, борода поседела, взгляд стал мрачнее, но в остальном он мало изменился. Ульрих пробормотал: «Отец, отец», – но кузнец еще раз крикнул на него:

– Вон!

Тогда Руфь подошла к старику и ласково сказала:

– Выслушай его. Ведь все же он твой сын... Он немного вспылал и...

Но Адам не дал ей договорить:

– Да, я знаю эту испанскую манеру, – кричал он, – творить насилие над женщинами! У меня нет сына Наваррете, или как там это чудовище именуется! Я мещанин, и у меня нет сына, который бы разгуливал в ворованных дворянских платьях. Я ненавижу его и всех убийц. Его нога пятнает мой

дом. Вон, говорю я, а не то... Видишь этот молот?

Руфь удерживала старика, а Ульриху кивала головой, чтобы он уходил. Он закрыл глаза рукой и выбежал из дома.

Когда Адам остался наедине с Руфью, она схватила его за руку и воскликнула:

– Отец, отец! Ведь это твой единственный сын! А Спаситель велел нам любить даже врагов наших. А ты...

– Я ненавижу его, – сказал кузнец решительно. – Он причинил тебе боль?

– Нет, мне гораздо больше твой гнев. Ты судишь его слишком строго. Он был отчасти прав, рассердившись на меня: ему показалось, что я оскорбила его мать.

Адам пожал плечами, а она продолжала:

– Бедная женщина умерла. Ульрих принес тебе ее обручальное кольцо; она никогда не расставалась с ним.

Кузнец вздрогнул, схватил золотое кольцо, посмотрел на вырезанный на нем год, сложил руки, как бы для молитвы, и сказал:

– Мертвым следует прощать...

– А живым, отец? Ты жестоко наказал Ульриха, а он вовсе не такой дурной человек. Если он опять придет...

– То мы опять укажем на дверь предводителю испанских убийц; а для раскаявшегося мещанского сына мой дом всегда будет открыт.

Тем временем Ульрих бесцельно бродил по улицам. Он был точно в угаре. То, что он чувствовал, не было ти-

хой душевной печалью, а скорее смесью злобы с отчаянием. Он не желал видеться с другом детства и ушел даже в сторону от Ганса Эйтельфрица, который попался ему навстречу. Его не занимала уличная жизнь; все вокруг было пусто и мрачно. Он не исполнил даже своего намерения вступить в переговоры с комендантом цитадели; он не мог думать ни о чем ином, кроме родительского гнева, Руфи, своего позора и несчастья.

Нет, так он не может уехать! Отец должен его выслушать. Он в сумерки опять пошел в тот дом, из которого его так безжалостно выгнали. Дверь была заперта. Когда он постучал, незнакомый мужской голос спросил, кто там и что нужно. Он объявил, что желает видеть хозяина, и назвал свое имя. Прождав еще некоторое время, он услышал, как распахнулась дверь, и Адам сердито проговорил:

– Кто держит его сторону, пока он носит испанское платье, тот не желает добра ни ему, ни мне.

Затем раздались тяжелые шаги, дверь отворилась и перед Ульрихом очутился Адам, который грубо спросил его:

– Чего тебе нужно?

– Поговорить с тобой, сказать, что ты не прав, что ты напрасно оскорбил меня.

– А ты все еще командир испанских войск?

– Да.

– И намерен остаться им?

– Не известно, что будет, – сказал Ульрих по-испански,

перепутав в своем смущении оба языка.

Как только Адам услышал эти иноземные слова, он окончательно вспылал:

– Ну так пропадай ты пропадом вместе со своими испанцами! – закричал он громовым голосом, дверь захлопнулась, и тяжелые шаги удалились.

«Все кончено! – пробормотал отверженный сын. – Ну что же! Я сделал все, что мог. Я не виноват!»

И он снова стал бродить по улицам, и в голове его возникали разные планы, один нелепее другого; он даже подумывал о том, чтобы выломать двери отцовского дома и похитить Руфь.

Однако на другое утро он совершенно хладнокровно обсудил с испанским комендантом судьбу города. Ему встретился Ганс Эйтельфриц, и они, разгуливая по улицам, стали рассуждать о том, как им устроиться после занятия города. Словом, этот город представлял такие богатства, что в нем можно было рассчитывать на добычу в тысячу раз более значительную, чем при уничтожении турецкого флота в Лепанте. Вот где можно было добыть богатство, которое ему нужно было, для того чтобы построить великолепный дворец, в котором он поселит Руфь. Ценой гибели этого богатого города он купит себе счастье! Мысль о потоках крови и ужасах, которых это потребует, его нимало не смущала.

Филипп не подозревал замыслов Ульриха, да и не должен был ничего знать о них. Он приписывал задумчивость своего

приятеля его изгнанию из отцовского дома и, прощаясь, посоветовал ему поскорее покинуть испанские знамена и сделать еще попытку примириться со стариком.

В Аальсте командующего приняли с восторгом, когда узнали, что нападение на Антверпен решено. Однако ни овации его солдат, ни сознание своего могущества не могли удовлетворить Ульриха, и он начал сознавать, что и власть не есть искомое им «слово». Он чувствовал, что ему нужна Руфь, чтобы сделаться другим человеком. Часы казались ему днями, дни – неделями, и только когда к нему явился посланный от коменданта антверпенской цитадели, в нем пробудилась прежняя его энергия и он вышел из своего подавленного состояния.

XXX

Двадцатого октября Маастрихт был взят бунтовщиками и подвергся жестокому разорению. Антверпен встретился; иностранные купцы стали выезжать из города. Нидерландское войско явилось для защиты города, но им предводительствовал бездарный маркиз Гаврэ. Предводитель немецких ландскнехтов, граф Оберштейн, обязавшийся было в пьяном виде действовать сообща с бунтовщиками, одумался вовремя и остался верен своему долгу. Комендант призвал к обороне и жителей, и они тысячами стали стекаться на этот зов. Адам и его подручные занялись крепостными работами. Руфь в числе других женщин плела шанцевые корзинки. Ее волновали самые разнородные чувства. Она ненавидела испанцев не менее Адама, она знала, что Ульрих вступил на дурной и гибельный путь, но все же она любила его, он был для нее всем, ее суженым, и она чувствовала, что никогда не полюбит другого. Она верила так же и в его любовь. Она не знала и не хотела знать, когда и где ей суждено будет стать его женой, но она была уверена, что это произойдет, а затем последует и примирение отца с сыном. Он заблуждается, он вступил на ложный путь, но все же он благородный человек и еще может исправиться.

Военные действия наконец открылись, но Руфь все еще надеялась, что Ульрих не доведет дела до крайности, что он

пощадит город, в котором жили его отец и невеста. Она старалась убедить в этом и Адама. Но вдруг вбежал один из работников Адама и объявил, что аальстские бунтовщики под предводительством своего белокурого начальника идут на город.

Адам прервал его резким восклицанием, схватил тяжелый молот и выбежал на улицу. Руфь, дрожа всем телом, осталась в мастерской. Адам прямо направился к стене. Здесь стояли до шести тысяч валлонов для защиты наполовину готовой стены, а позади них – тысячи вооруженных граждан. Проклятия, крики, вопли раздавались со всех сторон. Кто-то взбежал на вал и громко закричал:

– Идут, идут! Их ведет собака Наваррете! Испанцы объявили, что не будут ни есть, ни пить, пока не возьмут город. Вот они, вот они!

И действительно, атакующие подступали все ближе и ближе, и впереди них шел Ульрих со своим знаменем. Он молчал и не обращал внимания на свистящие вокруг него пули.

Адам стоял в первых рядах защитников с высоко поднятым молотком в руке. Взор его был как будто прикован к приближающемуся сыну и к знамени, откуда смотрел на него портрет той женщины, которая причинила ему столько горя. Он не знал, во сне ли он ее видит, или наяву. Да, он ненавидел своего собственного сына и сгорал нетерпением кинуться на него со своим молотом. Ульрих на минуту скрылся от его взора, в то время, когда начал взбираться

ся на стену. Но вот показались перья его шлема, его знамя, и вскоре Ульрих, с криками: «Испания, Испания!», – стоял на бруствере.

В это самое мгновение возле Адама раздались несколько выстрелов, а когда рассеялся дым, Адам уже не видел знамени; оно лежало на земле, а подле него – ничком, распростертый во весь рост Ульрих. Старик зажмурил глаза, когда же он снова открыл их, то сотни бунтовщиков уже взобрались на стену, а у ног, весь в крови, лежал его сын. Число трупов все увеличивалось, но тем не менее испанцы продвигались вперед. Вот они столкнулись с валлонами, те дрогнули и обратились в бегство, преследуемые испанцами. Испанцы страшно свирепствовали в рядах бегущих. Адам был увлечен всеобщим бегством. Началось беспощадное кровопролитие. Видя, как разъяренные солдаты врываются в дома, Адам вспомнил о Руфи и поспешил домой. Он сообщал всем, попадавшим к нему навстречу, о том, что он видел, убежав в дом вооружился сам, вооружил своих подручных самодельным оружием и опять бросился на улицу, чтобы сражаться.

Часы проходили, выстрелы и звон набата раздавались по-прежнему, запах дыма и гари проникал в двери и окна. Наступил вечер – и богатый, цветущий торговый город превратился в груды дымящихся развалин. В мастерскую Адама, однако, лежавшую в самом отдаленном и бедном квартале города, никто не заглядывал. Руфь и старуху Рахиль Адам по-

ручил защите своего надежного старшего подмастерья и велел им, в случае нападения на дом, укрыться в погребе. Руфь взяла с собой кинжал, твердо решив в случае крайности покончить с собой. Да и что была ей за жизнь после того как она навсегда лишилась Ульриха!

Рахиль, которой стукнуло уже восемьдесят, сгорбившись, ходила взад и вперед по комнате. Когда взор ее падал на отчаявшуюся девушку, она вздыхала и восклицала: «Ольрих, наш Ольрих!» – и при этом пожимала плечами и смотрела кверху. Она забывала то, что случилось несколько часов тому назад, но память ее живо сохраняла события давно прошедшие. Служанка, местная уроженка, убежала, как только началось нападение, к своим родителям.

По мере того как приближался вечер, грохот орудий и уличный шум стали утихать, но зато в комнаты пробирался удушливый дым. Стемнело, зажгли огонь. При каждом шуме девушка вздрагивала и начинала все более и более беспокоиться об Адаме. Неожиданно растворилась дверь, и снаружи раздался голос кузнеца:

– Это я, не бойтесь, это я!

Он вышел из дому с пятью подручными, а возвратился с тремя; остальные лежали убитыми на улицах, и вместе с ними – немецкие солдаты графа Оберштейна, которые бок о бок с горожанами бились с испанскими бунтовщиками до последнего человека. Тщетно Адам работал своим могучим молотом: всадники Варгаса сломили и последнее отча-

янное сопротивление защитников города⁴⁴. Улицы были залиты кровью и покрыты трупами, зарево пожара освещало небо, и из тысяч окон раздавались вопли ограбленных, истекающих кровью граждан, женщин и детей.

Адам наскоро закусил и затем, осмотревшись кругом, сказал:

– Однако нас никто не тронул. А у соседа Икенса они все разнесли.

– Что же тут удивительного? – сказала старуха Рахиль. – Понятно, что это чертово отродье предпочитает серебро железу.

У двери раздался стук. Адам вскочил, снова надел броню, сделал знак мастерам и направился к выходу. Рахиль громко закричала:

– Руфь, в погреб! Господи, помилуй нас! Куда же я девала мой платок! Караул! Прочь! Прочь! Ох, ноги подкашиваются!

Старухе не хотелось умирать, но молодая девушка даже желала смерти и не шевельнулась. В это время кузнец вошел в горницу с немецким ландскнехтом в полном вооружении, вид которого заставил старуху еще раз вскрикнуть так, как будто ее режут. Это был Ганс Эйтельфриц, пожелавший проведать отца своего приятеля Ульриха.

– Да, жаль вашего сына! – сказал он. – Славный был человек, и мы с ним были большими друзьями. Он сам пере-

⁴⁴ Амстердам был взят испанцами 4 ноября 1576 года.

дал мне вот эти охранные письма для вас и для Моора, а копии с них прибил к вашим дверям. Хороший был человек! И с какой любовью он всегда вспоминал о своих! Так вы говорите, что он зарубил двадцать одного валлона, прежде чем упал раненый?

– Нет, я этого не говорил, – прервал его Адам. – Я сам видел, как он упал раньше, чем успел поднять преступный меч. Они перешагнули через него.

– Ага! Он там лежит... И ни одна душа не подумала еще об убитых и раненых?

Руфь вздрогнула, положила руку на плечо старика и сказала:

– А если он еще жив! Быть может, он только ранен, быть может...

– Да, фрейлейн, все возможно, – перебил ее Ганс. – Я бы мог порассказать вам таких вещей... Вот когда мы были в Африке, один паша так хвалил моего земляка... Да, что об этом толковать! Ведь Ульрих, может быть, на самом деле... Постойте-ка, в полночь я должен занять со своим взводом караул, и тогда я поищу...

– Нет, мы, мы отыщем его! – воскликнула Руфь и схватила Адама за руку.

– Не мы, а я, – ответил кузнец, – а ты останешься здесь.

– Нет, нет, отец, я пойду с тобой!

Тогда и Ганс покачал головой и сказал:

– Ах фрейлейн, фрейлейн, вы представления не имеете,

что это за день нынче был! Благодарите Создателя за то, что вы отделались так дешево. Лев лизнул крови. Вы – пригожая девушка, и если они вас сегодня...

– Все равно! – прервала его Руфь. – Я знаю, чего хочу. Если кто и сможет найти его, так только я! О господин вахмистр, вы, кажется, такой добрый и хороший человек? Вы пойдете ночью с караулом. Проводите нас, дайте мне возможность отыскать Ульриха – я знаю, что найду его!

Адам печально покачал головой, но Ганса тронула эта самоотверженность девушки, и он сказал:

– Может быть... Послушайте, хозяин. Ведь и для вас не особенно-то безопасно выходить на улицу, и без меня вы вряд ли дойдете до бруствера. Вы отец, а эта красавица – сестра. Или нет? Ну, тем лучше для него, если он выживет. Это нелегко будет сделать, но все же возможно. Итак, в полночь я буду здесь. У вас, конечно, есть в доме ручная тележка?

– Да, для угля и железа.

– Хорошо. Пусть ваша стряпуха сварит котелок похлебки, и если у вас есть несколько окороков...

– Их целых четыре в кладовой! – воскликнула Руфь.

– Ну, так и их положите в тележку, да еще бочонок пива, да несколько фляжек вина, и затем следуйте за мной. Я знаю пароль, со мной будет мой денщик, и испанцы будут думать, что вы везете караульным ужин. Только почерните себе немножко ваше хорошенькое личико, фрейлейн, уку-

тайтесь хорошенько, и если мы найдем Ульриха, то положим его в пустую тележку, и я провожу вас домой. Да прихватите на всякий случай с собой этот мешок, в случае, если мы его найдем. Я, по правде сказать, предназначал его для другой цели, да ничего, я доволен и этой добычей. А вот эти серебряные игрушечки спрячьте пока. Хорошенькие там вещицы! Не морщите свой лоб, мастер! Ведь если бы я не взял этого, то взяли бы другие. Что поделаешь – война так война! Я это подарю моим племянникам. А вот тут, в боковом кармане, у меня нечто более существенное. Ничего, пригодится детишкам на молочишко!

Когда Ганс Эйтельфриц вернулся около полуночи, тележка с провизией и напитками была уже готова. Все увещания Адама пропали втуне. Руфь настояла на том, чтобы идти с ними, и кузнец превосходно знал, что заставляло ее так рисковать собой.

Адам тащил тележку, Руфь подталкивала ее сзади, вахмистр со своим ординарцем шел рядом с ней. По временам им встречались испанские солдаты, окликавшие их, но Ганс отвечал пароль, и, таким образом, их никто не тронул. Убийства и грабежи еще не прекратились, и Руфи пришлось насмотреться таких сцен, которые леденили ее кровь. Но девушка крепилась, и они благополучно достигли бруствера.

Здесь Ганс оказался среди своих. Он передал им привезенные яства и питье и предложил хорошенько угоститься. Затем он взял в руки фонарь и повел Руфь и Адама, тащив-

шего за собою тележку, среди глубокой тьмы ноябрьской ночи на бруствер. Эйтельфриц светил, и они все трое искали. Труп лежал на трупе. Куда не ступала нога Руфи, всюду она наступала на мертвое тело. Девушка едва не лишилась чувств от страха, ужаса, омерзения; но ее поддерживало горячее желание увидеть, хотя бы мертвым, своего возлюбленного.

Они дошли до середины стены. Вдруг она издали увидела растянувшееся во весь громадный рост тело.

Да, это был он!

Она вырвала фонарь из рук Ганса, подбежала к распростертому на земле, наклонилась к нему и посветила в лицо.

Что она увидела? Почему она испустила такой отчаянный вопль? К ней подошли Адам и Ганс, но она знала, что ей теперь было не до слез. Она приложила руку к панцирю и, не ощутив дыхания, торопливо распустила пряжки и ремни. Панцирь, звеня, упал на землю, и – нет, это был не обман – грудь Ульриха слегка приподнялась, она услышала легкое биение его сердца, едва заметный стон.

Руфь разразилась рыданиями, приподняла его голову и прижала ее к себе.

– Он умер, я так и думал, – сказал Ганс.

Адам опустился на колени. Но вдруг слезы Руфи превратились в радостный смех, и она воскликнула:

– Он дышит, он жив! Боже, Боже, благодарю Тебя!

И тогда она услышала, как упрямый старик рыдал подле

нее, и увидела, как он наклонился над Ульрихом и прислушивался к биению его сердца и как он прижал свои губы сначала к его лбу, а затем к его руке, которую он еще недавно так немилосердно оттолкнул. Ганс торопил их, отнес с помощью Адама все еще бесчувственного Ульриха в тележку, и полчасика спустя раненый, недавно еще отверженный сын лежал на кровати в лучшей комнате отцовского дома в верхнем этаже. А старуха Рахиль хлопотала возле печки: варила какую-то чудодейственную мазь. Она при этом посмеивалась про себя и шептала: «Ольрих», и, размешивая свое варево, никак не могла спокойно стоять на месте, так что могло показаться, будто она пляшет. Ганс Эйтельфриц обещал Адаму никому не говорить, где его сын, и отправился к своему взводу.

На следующее утро бунтовщики долго и тщательно разыскивали своего павшего вождя; но он исчез бесследно, и между этими суеверными людьми распространился слух, что дьявол утащил труп Наваррете в ад.

Неделю спустя после взятия Антверпена испанской вольницей полк Ганса был переведен в Гент. Он пришел к кузнецу проститься, но в весьма грустном настроении: оказалось, что он проигрался, и ему пришлось продать доставшееся ему драгоценное ожерелье, и у него осталось из всей добычи только серебряная игрушка, предназначавшаяся им для племянников.

XXXI

В кузнице погасили огонь в горне, и не раздавалось ни малейшего стука, так как Ульрих был тяжело болен, и всякий шум был невыносим для него. Адам это сам заметил; да ему, впрочем, и некогда было работать, так как он посвятил себя исключительно уходу за своим сыном, поднимал и переворачивал его и сменял Руфь у постели раненого, чтобы дать ей возможность отдохнуть. Он понимал, что ее нежные руки были более уместны в данной ситуации, чем его мозолистый кулак, и он предоставлял ей уход за Ульрихом, но те часы, в которые она отдыхала, были для него особенно приятны, так как тогда он оставался один возле сына, мог, не стесняясь, смотреть ему в лицо и радоваться каждой его черте, напоминавшей ему отрочество его сына, а также и... Флоретту. Нередко он целовал горячий лоб или свесившуюся руку больного, и, когда врач уходил с озабоченным лицом, он становился на колени возле постели Ульриха и горячо молился о сохранении жизни своего сына и о том, чтобы, если нужна чья-нибудь смерть, лучше бы умер он, ни для кого не нужный старик. Порой ему казалось, что Ульрих умирает, и он предавался глубокому отчаянию.

Но Руфь не теряла надежды даже в самые трудные минуты. Она не хотела верить, что Господь дал ей возможность вновь обрести после стольких лет Ульриха лишь для того,

чтобы тотчас же снова лишиться его. Конец опасности был для нее равносильен началу спасения. И надежда не обманула ее: через некоторое время раненый явно пошел на поправку. Девушка не помнила себя от радости и продолжала ходить за ним с удвоенной заботливостью. Все, что он ел и пил, подавалось ему ее рукой; она угадывала малейшие его желания; она перевязывала своею маленькой ручкой его раны не хуже любого хирурга. Она, казалось, чувствовала и испытываемую им боль, и всякое облегчение этой боли. Мало-помалу лихорадка исчезла, боль уменьшилась, он стал чувствовать себя крепче и мог свободно двигаться.

Сначала Ульрих не сознавал, где находится, но затем стал узнавать Руфь и отца. Когда она входила в комнату с чистым бельем, и он слышал запах лаванды, который так любила ее мать, ему казалось, что он перенесен в свое детство, он вспоминал ласкового и умного доктора, его немую жену, тенистые сосновые рощи своей родины, журчащие ручейки и сочные луга, переносился мыслью к тому времени, когда он вместе с Руфью слушал пение птиц, собирал ягоды, рвал цветы и просил всякие хорошие вещи у таинственного «слова». Ему казалось, что его отец теперь не только стал таким же, как и тогда, но еще ласковее, внимательнее. Муж опять превратился в мальчика, и все его прошлое согрелось веянием любви. Он был глубоко признателен Руфи за ее заботу, и, когда глядел ей в глаза, дотрагивался до ее руки, когда в ушах его раздавался звук ее мягкого, бархатистого голо-

са, он ощущал невыразимое блаженство. Даже всякая мелочь преисполняла его любовью. Он искал любви, чтобы наслаждаться ее дарами; теперь ему приятно было приносить жертвы ради любви. Он заметил, что красивое лицо Руфи омрачалось, когда черты его лица выражали ощущение боли, и он старался скрывать свои страдания и улыбаться вопреки им. Он нарочно иногда притворялся спящим, чтобы дать ей и отцу возможность отдохнуть, и, хотя его била лихорадка, он лежал совершенно тихо и не шевелился, чтобы не беспокоить эти дорогие ему существа. Любовь научила его быть сострадательным.

Он стал мало-помалу поправляться, и, когда был уже в состоянии выходить из комнаты, отец повел его сначала по всем комнатам, а затем – вниз по лестнице, во двор. Иногда он замечал, как старик потихоньку поглаживал его руку, и когда он, утомленный, возвращался в свою комнату, то садился в свое спокойное кресло и любовался цветами, которые Руфь сняла со своего окна и поставила подле него на стол.

Отец успел узнать все похождения сына, и то, что еще недавно казалось старику делом греховным и непростительным, он теперь готов был извинить.

Во время одного из разговоров с отцом Ульрих воскликнул:

– Война! Ты не знаешь отец, как она привлекательна. Это игра жизнью, в которой одинаково мало дорожишь и чу-

жой жизнью, и своей. Там всякий стремится причинить другому возможно больше зла. Прежде она мне нравилась, но теперь – теперь она мне противна. Вчера Руфь напомнила мне любимое изречение своего отца: «Не делай другому того, что тебе самому было бы неприятно». Я никогда не был жесток, и мне никогда не доставляло удовольствия убивать людей, но тем не менее я сожалею теперь о том, что так часто обнажал свой меч. Чего я только не вытворял в Гарлеме!.. О Боже! Мне страшно даже подумать о том, что могло бы случиться так, если бы ты и Руфь поселились там. Нет, мне страшно вспоминать об этом. Иногда, в бессонные ночи, меня терзают воспоминания, и я чувствую глубокое раскаяние. Но, к счастью, я остался жив, и мне еще остается время исправиться. Ты, без сомнения, был прав, что сердился на меня!..

– Это все уже давно забыто, – прервал его Адам и пожал его руку своей жесткой ладонью.

Эти слова подействовали на выздоравливающего лучше всякого лекарства, и когда он снова услышал звук молотов в кузнице, то не смог более выносить бездеятельную жизнь и начал строить с Руфью планы относительно будущего.

– Слова: «счастье, слава, власть», – сказал он однажды, – все обманули меня. Но искусство! Ты, Руфь, не знаешь, что такое искусство. Всего оно не доставляет, но все же дает многое, очень многое. Моор – вот это был учитель! Я слишком много потерял времени, чтобы начать учиться сызнова.

Не будь этого, я бы снова принялся за живопись.

Девушка старалась ободрить его и рассказала Адаму об этом разговоре. Тот однажды надел свое праздничное платье и пошел к художнику. Оказалось, что он в Брюсселе, но на днях должен был возвратиться. Адам стал наведываться к живописцу чуть ли не через день, надевая каждый раз хорошее платье, что он обычно делал лишь крайне неохотно. Но его ожидания оказались тщетны.

Однажды, в феврале, выздоравливающий Ульрих сидел с Руфью за шахматной игрой, которой она научилась от Адама, а Ульрих от нее. В это время Адам вошел в комнату и сказал:

– Когда ты кончишь партию, Ульрих, мне нужно будет поговорить с тобой.

Руфь выигрывала, но она тотчас же смешала фигуры и вышла из комнаты. Ей известно было, что затевал старик, потому что накануне он принес с собою разные принадлежности для живописи и велел ей прибрать одну из комнат в верхнем этаже и отнести туда мольберт и краски. Удивленный Ульрих спросил, что это значит. Тогда Адам сообщил ему о своих планах и затем спросил:

– Ведь это ты расписал знамя... то, помнишь?

Ульрих ответил утвердительно, и старик продолжал:

– Это была твоя мать... точь-в-точь, как тогда. Она нехорошо поступила с нами обоими; но все же она была твоя мать, и я... я бы желал, чтобы ты написал ее портрет,

но не в виде Мадонны, а такой, какой она была в молодости.

– Я могу и это! – воскликнул Ульрих в радостном волнении. – Сведи меня наверх. Что, холст готов?

– Ну, в добрый час! Я уже старик и... Видишь ли, Ульрих, твоя мать была красавица; но мне как-то не удается представить ее такой, какой она была в то время. Я пытался сделать это сотни и тысячи раз: и там на «лобном месте», и здесь, и везде – как ни сердит я был на нее!

– Да, ты увидишь ее такой, какой она была, непременно увидишь! – прервал его Ульрих. – Я ее ясно вижу перед собой, а то, что так отчетливо представляется, мне наверняка удастся изобразить на полотне.

Ульрих в тот же день принялся за работу. Она у него спорилась, так как он вложил в нее всю любовь, переполнявшую его сердце. Еще никогда он не работал с такой одержимостью: ему хотелось дать дорогому для него человеку то, что для него самого было дороже всего, а потому картина вполне удалась.

Он изобразил молодую женщину в костюме простой горожанки, с ласковым взором и с доброй, но грустной улыбкой на устах. Он просил Адама не приходить в мастерскую раньше, чем портрет будет закончен. Когда он наконец позвал отца и в его присутствии отдернул занавеску, старик не мог удержаться от слез, громко разрыдался, бросился сыну на шею, и ему показалось, что нечего прощать этой красивой женщине в золоченой раме, а следует, напротив, за мно-

гое благодарить ее.

Вскоре после того Моор возвратился в Антверпен, и, узнав об этом, Адам тотчас же пошел к нему с Ульрихом. Свидание их было самое радостное. Вскоре Моор посетил и дом Адама. Он долго и внимательно рассматривал портрет, затем протянул своему ученику руку и сказал:

– Да, я не ошибся. Я всегда говорил, что ты художник в душе. С завтрашнего дня мы начнем работать вместе, и кистью ты одержишь более блестящие победы, чем мечом.

Щеки Ульриха разгорелись от гордости и радости. Руфь еще никогда не видела его таким, и, когда она весело взглянула ему в глаза, он протянул ей обе руки и воскликнул:

– Живописец, опять живописец! О, если бы я всегда оставался им! Теперь мне недостает только одного – тебя!

Она кинулась ему на шею и радостно воскликнула:

– Твоя, твоя! Я всегда была твоей и останусь ею сегодня, завтра, до самой смерти, вечно!

– Да, да, – отвечал он с серьезной ласковостью, – наши сердца соединены навеки, и никто не может их разлучить. Но я не свяжу мою судьбу с твоей, пока Моор не признает меня настоящим живописцем. Любовь не ставит условий, но я сам налагаю на себя этот искуc и на этот раз, я знаю на-верное, я выдержу его.

Ульрих принялся за работу, и самое тяжелое становилось для него легким, когда он вспоминал о той награде, которая ожидала его. Год спустя Моор объявил, что учение его кон-

чилось, и Руфь сделалась женой живописца Шваба.

Известная антверпенская корпорация художников стала вскоре с гордостью причислять его к своим членам, а картины его и до сих пор высоко ценятся знатоками, хотя большую часть их приписывают другим художникам, так как он ни одну из картин не подписывал своим именем.

Из четырех слов, которые служили ему путеводной звездой всю жизнь, он теперь ставил «славу» и «власть» не особенно высоко; «счастье» же и «искусство» оставались верны ему. Но подобно тому, как луна светит не сама, а получает свой свет от солнца, так и они получали силу и прелесть только благодаря любви.

Неукротимый воин, так свирепствовавший на войне, сделался добрым и гуманным человеком в смысле высокого учения Христова и своего благодарного учителя.

Не один человек любовался великолепной картиной, изображавшей красивую, веселую мать, подводящую трех своих детей к ласковому старику, протягивающему к ним руки. Старик – это Адам, мать – Руфь, дети – внуки кузнеца. Картина эта написана художником Ульрихом Швабом.

Моор скончался вскоре после женитьбы Ульриха. Несколько месяцев спустя графиня Софронизба ди Монкада приехала в Антверпен, чтобы посетить могилу своего дорогого учителя. Она узнала от семьи покойного, что он снова нашел своего любимого ученика, и тотчас же поспешила навестить Ульриха. Осмотрев его картины, она радостно вос-

кликнула:

– А помните то «слово», Ульрих? Я уже тогда говорила вам, что вы нашли настоящее слово. Вы очень, очень изменились, особенно жаль ваших великолепных кудрей. Но все же вы, по-видимому, счастливы. И чему вы этим обязаны? Слову, единственному истинному слову, – «ИСКУССТВО». Он дал ей договорить и затем ответил:

– Есть еще более высокое слово, графиня. Тем, кто им обладает, нечего больше блуждать, искать, сомневаться.

– Какое же это слово? – спросила она, улыбаясь.

Он твердо ответил:

– Я нашел его. Это слово – «ЛЮБОВЬ».

Она наклонила голову и произнесла тихо и печально:

– Да, конечно же, – «ЛЮБОВЬ».